

Литрес ≡ Классика

Герберт Уэллс

КОГДА СПЯЩИЙ ПРОСНЕТСЯ



Герберт Джордж Уэллс
Когда спящий проснется

«ЛитРес»

1899

Уэллс Г.

Когда спящий проснется / Г. Уэллс — «ЛитРес», 1899

Англия, конец XIX века. Молодой джентльмен по имени Грэхэм, страдая от бессонницы, наконец погружается в сон, который неожиданно переходит в летаргию и длится более двухсот лет. Проснувшись в Лондоне XXII века, он обнаруживает мир невероятных, но пугающих технологий и социального неравенства. За два столетия благодаря банковским процентам он, сам того не ведая, стал верховным собственником планеты. Грэм оказывается в центре острого политического конфликта между правящим Советом, стремящимся сохранить свою тайную власть, и восставшим народом, который видит в очнувшемся Спящем своего лидера и надежду на освобождение. Роман является одной из первых классических антиутопий в истории научной фантастики.

© Уэллс Г., 1899

© ЛитРес, 1899

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	12
Глава 3	16
Глава 4	19
Глава 5	27
Глава 6	31
Глава 7	37
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Герберт Джордж Уэллс Когда спящий проснется

H. G. Wells

When the Sleeper Wakes

ЛитРес
библиотека

© «Литрес», 2026

Глава 1

Бессонница



Однажды, в жаркий полдень, во время отлива мистер Избистер, молодой художник, проживавший в Боскасле, направлялся из этого местечка в живописной бухточке Пентарджена с тем, чтобы осмотреть тамошние пещеры. Он шел пешком вдоль берега моря и, спускаясь по крутой тропинке к Пентарджену, неожиданно наткнулся на какого-то человека, который сидел под навесом выступавшей в море скалы. Вся поза этого человека говорила о глубоком отчаянии. Он сидел согнувшись; его руки бессильно свесились с колен, красные воспаленные глаза тупо глядели в пространство, и все лицо было мокро от слез.

Он оглянулся, услышав шаги художника. Оба смутились, особенно Избистер. Он невольно остановился и, не зная, как выйти из неловкого положения, с глубокомысленным видом промямлил что-то такое о погоде, «жаркой не по сезону».

– Да, жарко, – коротко отозвался незнакомец. Он помолчал с секунду и добавил однозвучным, вялым тоном:

– Я не могу спать.

Избистер резко остановился.

– В самом деле?

Вот все, что он нашелся сказать, но во всей его манере сквозило искреннее желание помочь, насколько это в его власти.

– Это может показаться невероятным, – продолжал незнакомец, поднимая на него усталые глаза и подкрепляя свои слова вялым движением руки, – трудно поверить, но вот уже шесть ночей, как я не спал, совсем не спал, ни минуты.

– Советовались вы с докторами?

– Да. Ни одного путного совета. Микстуры, пилюли. А моя нервная система... Все эти лекарства, может быть, и хороши для большинства людей... Как бы это объяснить?.. Я не решаюсь принять достаточно сильную дозу.

– Это должно помочь, – заметил Избистер.

Он беспомощно стоял на узкой тропинке, недоумевая, что же делать дальше. «Бедняге хочется поговорить – это ясно», – подумал он и, движимый естественным при данных обстоятельствах побуждением, поспешил поддержать разговор.

– Сам я бессонницей никогда не страдал, – заговорил он беспечным тоном светской болтовни, – но я знаю, что для таких случаев существуют средства...

Незнакомец сделал жест отрицания.

– Я боюсь делать эксперименты.

Он говорил устало, через силу. Оба опять помолчали.

– А моцион? Пробовали вы моцион? – нерешительно спросил Избистер, переводя взгляд с измученного лица своего собеседника на его костюм туриста.

– Пробовал, как раз в эти дни. И, кажется, глупо сделал. Я прошел пешком весь берег от самого Нью-Кея. Я иду уже несколько дней. К умственному утомлению прибавилась физическая усталость – вот и все. Да ведь и началась-то со мной эта история от переутомления и... от забот. Я, видите ли...

Он оборвал речь, точно у него не хватило сил продолжать, потом потер лоб своей тонкой, костлявой рукой и начал снова так, как будто говорил сам с собой:

– Я – одинокий волк, живу уединенно, всем чужой, не принимаю прямого участия в жизни. Нет у меня ни жены, ни детей... Кто это сказал про бездетных людей, что это мертвые сучья на древе жизни?.. У меня нет жены, нет детей, нет обязанностей. Даже желаний нет в моем сердце. Я долго не находил себе задачи, цели в жизни. Но наконец нашел. Я решил сделать одно дело. Я сказал себе: я хочу это сделать и сделаю. И для того, чтоб сделать это, чтоб побороть инертность своего вялого тела, я прибегал к лекарствам. Боже ты мой! Сколько я их проглотил! Не знаю, все ли чувствуют то, что чувствовал я тогда. Сознаете ли вы, например, все неудобство иметь тело, ощущаете ли всю тяжесть его, чувствуете ли с отчаянием, как много времени оно отнимает у вашей души – времени и жизни?.. Жизнь! Да разве мы живем? Мы живем лишь урывками. Нам надо есть. Мы едим и получаем тупое пищеварительное удовлетворение или, наоборот, раздражение. Нам нужны движение, воздух, иначе наше мышление замедляется, ум тупеет, мысль отвлекается внешними и внутренними впечатлениями и забредает в тупики. А там наступают дремота и сон. Люди и живут-то, кажется, только затем, чтобы спать. Даже в лучшем случае человеку принадлежит такая ничтожная часть его дня. А тут еще приходят на подмогу эти наши друзья-предатели – алкалоиды, которые заглушают естественное чувство усталости и убивают покой. Черный кофе, кокаин...

– Да, да, понимаю, – вставил Избистер.

– Но я окончил свое дело, – сказал раздражительно бедный больной. – Я добился своего.

– Ценою бессонницы?

– Да.

С минуту оба молчали.

– Вы себе представить не можете, до чего я жажду покоя – алчу и жажду, – снова заговорил незнакомец. – Все эти шесть долгих суток, с той минуты, как я окончил работу, в моей несчастной голове кипит водоворот. Мысли вихрем кружатся на одном месте, быстро, непрерывно... несутся бешеным потоком неведомо куда... – Он помолчал и кончил: – В бездну.

– Вам надо заснуть, – сказал Избистер с таким решительным видом, точно открыл радикальное средство. – Вам положительно необходимо заснуть.

– Мысли мои вполне ясны – яснее, чем когда-либо. И все-таки я знаю, чувствую, что меня захватил водоворот. Видали вы когда-нибудь, как в водоворот затягивает щепку? Разве она может бороться? Вот она кружится, кружится... все глубже, все ниже... прочь от света дня, прочь из счастливого мира живых... все дальше в пучину, на дно.

– Но позвольте... – возразил было Избистер.

Незнакомец вытянул руку решительным жестом.

– Я знаю, что я сделаю: я убью себя. – Глаза его сверкали безумием, голос звенел. – Я добьюсь покоя, если не где-нибудь еще, то там, у подножия этих скал, где зияет черная бездна, где волны так зелены, где то вздымается, то падает белая пена прибоя, где дрожит легкой рябью вон та узкая полоска воды. Там я, во всяком случае, найду... сон.

– Ну, уж это совсем неразумно, – проговорил Избистер, пораженный истерическим волнением незнакомца. – Наркотики все-таки лучше.

– Там я найду сон, – повторил тот не слушая.

Избистер смотрел на него.

– Найдете сон, вы говорите? Ну, знаете, это еще вопрос. В Лалворт-коувс есть такая же скала, во всяком случае, не ниже этой. Так вот с нее упала девушка – с самой верхушки, и что ж бы вы думали? Цела и невредима. Живет и по сей день.

– А эти скалы внизу? Разве можно упасть на них и не разбиться?

– Разбиться-то разобьетесь, конечно, и будете лежать всю ночь с переломанными костями, дрогнуть под брызгами холодной воды, мучиться... Что, хорошо?

Их взгляды встретились.

– Мне жаль разочаровывать вас, – прибавил Избистер беспечно. «С дьявольской находчивостью», – подумал он про себя. – Но бросаться с этой скалы, да и со всякой вообще... Такой род самоубийства – я говорю с точки зрения художника (он засмеялся), – право, это уж чересчур по-любительски.

– Но что же мне делать? – прокричал почти с гневом незнакомец. – Когда ночь за ночью не спишь ни секунды... Ведь от этого с ума можно сойти!

– Скажите: всю эту длинную дорогу по берегу вы сделали один?

– Да.

– Неостроумно. Простите, что я так говорю. Один! Еще бы, как тут не свихнуться? Вы правильно тогда сказали: физическая усталость – плохое лекарство против переутомления мозга. И кто вам посоветовал это средство? Ходьба – хорошо говорить! Жара, солнцепек, одиночество – с утра до ночи, день за днем... А вечером вы, наверное, ложились в постель и силились заснуть, а?

Избистер замолчал, устремив на страдальца лукаво-проницательный взгляд.

– Посмотрите на эти скалы! – крикнул вдруг тот, не отвечая на вопрос. Он взволнованно и сильно жестикулировал руками. – Посмотрите на это море, которое вечно сверкает и волнуется, как сейчас! Видите, как плещет и рассыпается белая пена вон под тем высоким утесом и снова исчезает в темной глубине. А этот синий купол со своим ослепительным солнцем, которое нещадно льет на землю горячие лучи? Это ваш мир. Вы его любите, вы чувствуете себя в нем как рыба в воде. Вас он согревает, живит, дает вам наслаждение. А для меня...

Он повернулся к своему собеседнику и показал ему свое истощенное, бледное лицо, тусклые, налитые кровью глаза и бескровные губы. Он говорил почти шепотом.

– Для меня все это, весь этот мир – лишь внешняя оболочка моего страдания... моего горя.

Избистер обвел глазами дикую красоту сверкавших в высоте, залитых солнцем вершин, потом взгляд его снова упал на поднятое к нему человеческое лицо, на котором было написано такое отчаяние, и он не нашелся, что сказать. Но вдруг он вскинул голову нетерпеливым движением.

– Вам надо выспаться – вот и все. Проспите как следует ночь, и все покажется вам в другом свете, – вот увидите.

Теперь он был уже убежден в предопределенности этой встречи. Каких-нибудь полчаса тому назад он не знал, куда деваться от скуки; и вот ему представлялось занятие, которое могло дать вполне законное удовлетворение всякому порядочному человеку. Одна мысль о предстоящей задаче поднимала его в собственных глазах, и он жадно ухватился за нее. Он решил, что этому несчастному прежде всего нужно общество, а потому, недолго думая, опустился на поросший травой выступ холма рядом с неподвижно сидевшей фигурой и принялся болтать о чем попало.

Но незнакомец, по-видимому, не слушал его: он снова погрузился в апатию. Угрюмым, неподвижным взглядом смотрел он на море, отвечая только на прямые вопросы, да и то не на все, но ничем, однако, не протестуя против непрошеного участия своего новоявленного друга.

Бедняга был как будто даже благодарен ему – по-своему, безмолвно и апатично, – и когда Избистер, чувствуя, что его разговорные ресурсы, не встречая поддержки, скоро иссякнут, предложил снова подняться на кручу и вместе вернуться в Боскаль, тот спокойно согласился. Не прошли они и половины подъема, как незнакомец принялся говорить сам с собой, потом вдруг повернул помертвелое лицо к своему спутнику.

– Что это? Что это?.. Вертится, вертится – быстро-быстро, как веретено. Все вертится... и без конца.

Он показал рукою, как все вертится.

– Ничего, милейший, все вздор, – проговорил Избистер тоном старого друга. – Вы только не волнуйтесь. Положитесь на меня.

Тот опустил руку и пошел дальше. И все время, пока они огибали гребень горы по узкой тропинке, где можно было идти только гуськом, и потом, когда, миновав Пинолли, они подходили к плоскогорью, измученный человек размахивал руками, бессвязно бормоча все о том же – как у него вертится в мозгу. На мыске, перед выходом на плоскогорье, в том месте, откуда открывается вид на черную яму Блэкапита, они присели отдохнуть. Еще раньше, как только тропинка настолько расширилась, что можно было идти рядом, Избистер снова начал болтать. Только он стал распространяться о том, как трудно в непогоду войти в Боскальскую гавань, как вдруг его спутник, перебив его на полуслове, опять заговорил:

– Положительно что-то странное творится с моей головой. – Он усиленно жестикулировал, должно быть оттого, что ему не хватало достаточно выразительных слов. – Раньше этого не было. Что-то давит мне мозг, точно гнет какой-то навалился... Нет, это не от бессонницы. Это не дремотное состояние. Хорошо, если бы так! Это как тень, как густая завеса, которая вдруг упадет и закроет от тебя главное, самое нужное, над чем ты хочешь подумать. И мысль твоя продолжает кружиться в темноте. О, какая сумятица мыслей, какой ужасный хаос! Кругом, кругом, все в одну сторону... все вертится и жужжит... Я не могу этого выразить... не могу сосредоточиться настолько, чтобы ясно выразить это в словах.

Он замолчал, обессилив.

– Успокойтесь, голубчик, – сказал Избистер. – Я вас, кажется, понимаю. Да, впрочем, и не стоит объяснять: право, это не так важно.

Незнакомец с усилием поднес руки к лицу и долго протирает глаза. Все это время Избистер, не умолкая, болтал. Вдруг его осенила новая мысль.

– Знаете что, зайдемте ко мне, – предложил он. – Выкурим по трубочке. Я покажу вам мои наброски Блэкапита. Хотите?

Больной послушно встал и последовал за ним по начинавшемуся спуску. Он шел очень тихо, нетвердыми шагами. Несколько раз Избистер слышал, как он спотыкался.

– Так, значит, решено: вы зайдете ко мне. Выкурите трубку или сигару. А заодно, может быть, захотите испробовать благодетельное действие алкоголя. Вы пьете вино?

Они стояли у садовой калитки перед домом, где жил Избистер.

Незнакомец не отвечал и не двигался с места. Он, кажется, уже перестал сознавать, где он и что делает.

– Я не пью, – медленно выговорил он наконец, направляясь тем не менее к дому по садовой дорожке. Немного погодя он рассеянно повторил: – Нет, я не пью... А оно все вертится, все вертится...

В дверях он споткнулся и вошел в дом, как человек, который ничего не видит перед собой.

Он тяжело опустился, почти упал в кресло, нагнулся вперед, подпер голову руками и застыл в этой позе. Через несколько секунд послышались какие-то слабые звуки вроде хрипенья.

Избистер двигался по комнате с нервной торопливостью неопытного хозяина, роняя изредка отрывочные фразы, не требовавшие ответа. Он перешел комнату, достал свою папку с этюдами и положил ее на стол. Потом взглянул на часы, стоявшие на камине.

– Хотите, может быть, поужинать со мной? – проговорил он, держа в руках незакуренную сигару. В эту минуту он ломал голову над вопросом, нельзя ли как-нибудь незаметно подсунуть гостю хорошую дозу хлорала. – У меня ничего нет, кроме холодной баранины, – продолжал он. – Но баранина первый сорт – из Уэльса. Ах, да, есть еще, кажется, торт.

Выждав немного и не получив ответа, он повторил эти слова. Но человек, сидевший в кресле, продолжал молчать. Избистер тоже замолчал и смотрел на него с зажженной спичкой в руке.

Тишина не прерывалась. Спичка догорела и погасла, незакуренная сигара была отложена в сторону. Гость был до странности неподвижен.

Избистер снова взялся за свою папку, раскрыл ее и задумался, собираясь что-то сказать.

– Может быть... – нерешительно начал было он пониженным голосом и замолчал. Взглянул на дверь, на неподвижную фигуру, сидевшую перед ним. Потом на цыпочках, стараясь ступать как можно осторожнее и беспрестанно оглядываясь на своего странного гостя, вышел из комнаты и бесшумно притворил за собой дверь.

Наружная дверь была не заперта. Он вышел в сад и встал у средней клумбы. Отсюда через открытое окно его комнаты ему была видна склоненная фигура в кресле. Незнакомец не изменил позы: он, видимо, не шелохнулся с тех пор, как его оставили одного.

Какие-то ребятишки, бежавшие гурьбой по дороге, остановились и с любопытством глазели на художника. Знакомый лодочник, проходя, поздоровался с ним. Ему становилось неловко торчать так, без всякого дела: он чувствовал, что его положение наблюдателя должно казаться публике странным и необъяснимым. Может быть, оно выйдет естественнее, если закурить? Он достал из кармана кисет с табаком и стал не спеша набивать трубку.

– Что же это будет, однако, хотел бы я знать? – пробормотал он уже с некоторым оттенком досады. – Ну, да уж пусть себе спит, не будить же его. – Он храбро чиркнул спичкой и закурил.

Вдруг он услышал за собой шаги своей хозяйки. Она шла с зажженной лампой из кухни в его комнату. Он обернулся и замахал на нее трубкой, шепча ей, чтоб она не входила к нему. Не без труда удалось ему объяснить ей положение дел: ведь она даже не знала, что у него сидит гость. Она отправилась обратно со своей лампой, видимо, заинтригованная такой таинственностью, а он снова занял свой наблюдательный пост у клумбы, взволнованный и не в духе.

На дворе совсем стемнело. В воздухе замелькали летучие мыши. Он давно уже докурил свою трубку, а человек в кресле все не шевелился. Хорошо бы взглянуть на него поближе... Но всякие сложные соображения удерживали его. Наконец любопытство превозмогло. Тихонько прокрался он в свою комнату, где теперь было совершенно темно, и остановился на пороге. Незнакомец сидел в прежней позе, выделяясь темным пятном на светлом квадрате окна. За окном стояла полная тишина; только со стороны гавани слабо доносилось пение: должно быть, матросы пели на одном из стоявших там мелких судов. Высокие стебли дельфиниума на клумбе слабо вырисовывались на буром фоне ближнего холма.

Вдруг Избистер вздрогнул: у него мелькнула одна мысль. Он нагнулся над столом и прислушался. Его подозрение окрепло. Мало-помалу оно превратилось в уверенность. Ему стало страшно... Если человек этот спит, так отчего же не слышно его дыхания?..

Бесшумно, осторожно, поминутно прислушиваясь, Избистер обошел вокруг стола. Вот он положил руку на спинку кресла и нагнулся над спящим, почти касаясь головой его головы. Потом нагнулся еще ниже, заглянул ему в лицо и откинулся назад с криком испуга: вместо глаз на него глядели белые стекляшки. «Глаза открыты, а зрачки закатились под лоб, – сообразил он, всмотревшись пристальнее. – Что же такое, наконец, с этим человеком?»

Его испуг превратился в ужас. Он взял незнакомца за плечо и принялся трясти его.

– Вы спите? – спросил он дрогнувшим голосом и, не получив ответа, повторил тоном ниже: – Вы спите?

Человек этот умер – теперь он был в этом убежден. Он вдруг засуетился: быстрыми шагами перешел комнату, наткнувшись при этом на стол, и сильно позвонил.

– Пожалуйста, свету! – крикнул он своей хозяйке в коридор. – С моим знакомым что-то случилось.

Потом он вернулся к своему неподвижному гостю и снова взял его за плечо. Он тряс его, кричал ему в ухо – напрасно. Комната вдруг осветилась желтым светом: хозяйка внесла лампу. На ее лице было написано изумление. Он повернулся к ней бледный, мигая от внезапного света.

– Я побегу за доктором, – сказал он. – С ним, должно быть, припадок, если только это... не смерть. Есть у вас доктор в деревне? Где он живет?

Глава 2

Транс

Состояние каталептического столбняка, в которое впал незнакомец, продолжалось беспрерывно долгое время. Со временем его окоченелые члены приобрели прежнюю гибкость. Тогда стало возможным закрыть ему глаза, и он производил впечатление человека, спящего спокойным сном.

Из квартиры художника его перенесли в больницу в Боскасле, а из больницы через несколько недель отправили в Лондон. Но все усилия врачей вывести его из этого состояния оставались бесплодными. Спустя некоторое время по причинам, о которых речь впереди, было решено оставить эти попытки. Долго, очень долго пролежал он таким образом, инертный, недвижимый – не мертвый, не живой, остановившись, так сказать, на полдороге между жизнью и небытием. Спячка его была абсолютной тьмой, в которую не проникал ни один луч мысли или сознания: это был сон без сновидений, длительный, глубокий покой. Его душевная буря, все разрастаясь, достигла своего предела и сразу сменилась полной тишиной. Где был человек в это время? Где была его душа? Где витает вообще душа человека, когда он теряет сознание?

– Мне кажется, это было вчера, так ясно я это помню, – сказал Избистер. – Право, я не мог бы помнить яснее, если бы все это случилось вчера.

Это был тот самый молодой художник, с которым мы познакомились в прошлой главе, но теперь он уже не был молодым. Его когда-то густые темные волосы, которые были у него всегда немного длиннее, чем это принято у мужчин, теперь были острижены под гребенку и серебрились сединой. Его когда-то свежее розовое лицо огрубело и стало красным. Теперь он носил бородку клином, и в ней было, по крайней мере, наполовину седых волос.

Он разговаривал с другим пожилым человеком в легком летнем костюме. Это был Уорминг, лондонский адвокат и ближайший родственник Грехэма – того самого больного, который впал в транс. Оба стояли в комнате рядом и смотрели на распростертое тело того, о ком они говорили.

Это было сухое желтое тело с вялыми членами и непомерно отросшими ногтями, с осунувшимся лицом и щетинистой бородой. Прикрытое только длинной рубахой, оно лежало на налитом водою гуттаперчевом матрасе, в высоком ящике из тонкого стекла. Эти стеклянные стенки как будто отграничивали спящего от реальной жизни, отделяли его от мира живых, как аномалию, как диковинку, как странное уродство. Двое живых стояли у самого ящика, заглядывая в него.

– Признаюсь, я очень тогда испугался, – снова заговорил Избистер. – Меня и теперь бросает в дрожь, когда вспомню эти белые глаза. Они у него, знаете, совсем закатились тогда, так что видны были только белки. Все это так живо мне вспоминается теперь... когда я смотрю на него.

– А вы с тех пор ни разу его не видали? – спросил адвокат.

– Много раз думал зайти посмотреть, да все дела мешали. Дела в наше время не много оставляют человеку досуга. Я ведь большей частью жил в Америке все эти годы.

– Вы, кажется, живописец, насколько я припоминаю? – спросил Уорминг.

– Был. Потом, когда я женился, я скоро понял, что мне надо распрощаться с искусством. Искусство – роскошь, по крайней мере для нашего брата – людей среднего дарования. Я занялся практическим делом, и успешно. Видали вы в Дувре на скалах рекламы? Все это работа моей мастерской.

– Хорошие рекламы, – сказал Уорминг, – хоть, признаюсь, мне неприятно было встретить их там.

– Работа прочная: продержится, пока стоят сами скалы, ручаюсь! – самодовольно воскликнул Избистер. – Эх, как меняется жизнь! Двадцать лет тому назад, когда он уснул, я проживал в Боскасле свободным художником. Благородное старомодное честолюбие да ящик с акварельными красками составляли все мое имущество. Не думал я тогда, что моим кистям выпадет со временем честь размазывать весь берег милой старой Англии от Лэндс-Энда вплоть до Лизарда. Да-а, удача часто приходит, откуда меньше всего ее ждешь.

У Уорминга, видимо, были кое-какие сомнения насчет такой удачи, но он сказал только:

– Помнится, мы тогда чуть-чуть не встретились с вами в Боскасле. Вы уехали за час до моего приезда.

– Да. Вы приехали тем самым дилижансом, который отвез меня на станцию. Это было в день юбилея Виктории: я помню, еще флаги развевались на Вестминстере и на улицах была страшная давка. Мой извозчик на кого-то наехал в Челси, и вышла целая история...

– Да, это был второй юбилей – бриллиантовый, – заметил Уорминг.

– Да, да. Во время первого, главного, когда праздновалось пятидесятилетие, я был еще мальчишкой и жил в провинции, так что ничего не видал... о господи – я опять возвращаюсь к Грехэму, – какой это был переполох тогда, если б вы знали! Моя хозяйка ни за что не хотела оставить его у себя. И в самом деле, он был такой страшный! Пришлось перенести его в гостиницу. Боскальский доктор – не теперешний молодой, а прежний – старичок – провозился с ним до двух часов ночи. Мы с хозяином гостиницы помогали ему: держали свечи, подавали все нужное, бегали в аптеку... Ничего не помогло.

– Вначале это был, кажется, обыкновенный столбняк?

– Да. Он был деревянный: как ни согни, так и остается. Если б его на голову поставить, он и то бы стоял. Ничего подобного я никогда не видал. То, что вы теперь видите (он указал на распростертую фигуру движением головы), совершенно другое... А этот старикашка доктор... как бишь его звали?

– Смитерс?

– Да, Смитерс... Он просто ошибся. Он ведь надеялся очень скоро привести его в чувство. Чего он только не испробовал! Мороз по коже продирает, как вспомнишь. И горчицу, и нюхательный табак, и щипки. А потом притащил еще эту проклятую машинку... динамо не динамо, а как ее?

– Индукционную катушку?

– Да. И пустил ее в ход. Если бы вы видели, как его дергало! Каждый мускул прыгал. Вы только представьте себе: полутемная комната... лишь у кровати горят две свечи, которые мы двое держим в руках... пламя колеблется... на стенах дрожат тени... маленький доктор нервничает, суетится, а тот весь корчится под током, точно автомат на пружинах... Уф! мне и теперь часто снится эта картина.

Молчание.

– Да, странное явление, – сказал Уорминг.

– Очень странное. Человек в этом состоянии, можно сказать, отсутствует вполне. Остается только тело без души – не мертвое, но и не живое. Это все равно как стул в каком-нибудь общественном месте – пустой, но на котором написано «занят». Ни ощущений, ни пищеварения, ни биения сердца. Взгляните: ну кто скажет, что это живой человек? В известном смысле он мертвее мертвого, потому что у него даже волосы перестали расти, – так я слышал от врачей. А у мертвецов ведь волосы еще некоторое время...

– Да, я знаю, – перебил его Уорминг с оттенком неудовольствия.

Они еще раз заглянули в стекло. Действительно, престранный феномен представлял этот спящий. Во всей истории медицины не было подобных примеров. Бывали случаи, что спячка продолжалась около года, но к концу этого срока она всегда заканчивалась или пробуждением, или смертью. Случалось и так, что вслед за пробуждением наступала смерть.

Избистер заметил на теле спящего несколько знаков, оставшихся после впрыскивания под кожу питательных веществ (в первое время врачи прибегали к этому средству, чтобы предупредить паралич сердца). Он указал на них Уормингу, который и сам давно их заметил, но старался не смотреть.

– Подумать только, как много перемен произошло в моей жизни с тех пор, как он здесь лежит! – продолжал Избистер с эгоистическим самодовольством здорового человека, который любит жизнь. – Я успел жениться, обзавестись семьей. Мой старший сын, – в то время я и не помышлял ни о каких сыновьях, – мой старший сын уже американский гражданин и скоро кончает университет. Я постарел, поседел. А этот человек ни на один день не состарился и ни на йоту не стал умнее – в практическом смысле, хочу сказать, – чем был я в дни моей зеленой юности. Курьезно!

Уорминг повернулся к нему:

– Я тоже стариком стал. Мы с ним в крикет играли мальчишками, а он все еще выглядит молодым человеком. Пожелтел, это правда. Но все-таки еще молодой человек.

– А сколько событий совершилось за эти годы. Война...

– И началась, и кончилась, и забыли о ней.

– У него, я слышал, было небольшое состояние? – спросил Избистер, помолчав.

– Как же! – подтвердил, принужденно покашливая, Уорминг. – Я хорошо это знаю, так как был назначен его опекуном.

– А-а... – Избистер опять помолчал, потом нерешительно заговорил: – Вероятно... ведь содержание его здесь недорого стоит... вероятно, за эти годы его состояние возросло?

– Конечно. Он проснется – если только проснется – богатым человеком, значительно богаче, чем был.

– Видите ли, меня, как делового человека, естественно, занимает этот вопрос, – сказал Избистер. – Мне даже приходило иногда в голову, что эта спячка была для него очень выгодна. Он, можно сказать, весьма предусмотрительно поступил, заснув на такой большой срок. Если б он продолжал жить...

– Сомневаюсь, чтобы он загадывал вперед на такой долгий срок, – перебил Уорминг. – Он никогда не отличался предусмотрительностью. Мы с ним всегда расходились по этому пункту. Он был очень неблагодарен во всем, и я поневоле должен был его опекать. Вам, как человеку практическому, должно быть понятно, что... Впрочем, не в этом вопрос. Выгодна или невыгодна для него эта спячка – во всяком случае, сомнительно, чтоб он вернулся к жизни. Такой сон истощает, медленно, но все же истощает. Тихонько, незаметно человек катится вниз... вы меня понимаете?

– Очень жаль, если так. Воображаю его изумление, если бы он проснулся!

– Жаль будет, если мы этого не увидим. Сколько было перемен за эти двадцать лет! Словно возвратившийся Рип Ван Винкль.

– Куча перемен, – сказал Уорминг. – Да, перемен было немало для каждого из нас. Для меня, например: я теперь старик.

– Я бы этого не сказал, – нерешительно пробормотал Избистер, изобразив удивление на своем лице. Но удивление вышло несколько запоздалым.

– Мне было сорок три года в тот год, когда я получил уведомление от его банкиров об этом казусе. Это вы ведь тогда телеграфировали им, помните?

– Да. Я нашел их адрес в чековой книжке, которая оказалась у него в кармане, – сказал Избистер.

– Ну-с, сорок три да двадцать... сумму нетрудно получить.

Избистеру очень хотелось задать один вопрос. Выждав приличную паузу, он наконец решился дать волю своему любопытству.

– Ведь это может затянуться на многие годы, – начал он. Потом он немного замялся и продолжал: – Надо прямо смотреть в глаза будущему. В один прекрасный день опека над его состоянием может перейти... в другие руки, не так ли? Что тогда?

– Поверьте, мистер Избистер, я и сам много думал об этом. Дело в том, что между моими близкими нет никого, кому бы можно было доверить такую опеку... Да, положение не из обыкновенных, – беспримерное, можно сказать.

– Мне кажется, в подобных случаях опекуном следовало бы назначать какое-нибудь официальное лицо, – сказал Избистер.

– Скорее официальное учреждение. Тут нужен бы бессмертный опекун – конечно, если он очнется и будет жить, как полагают многие из врачей... Я даже обращался по этому поводу в некоторые учреждения, но пока безуспешно.

– А что ж бы вы думали? Чудесная мысль! Сдать его на попечение Британскому музею, например, или Королевской медицинской коллегии. Оно странно звучит, это правда, но ведь и весь-то случай странный.

– Вы говорите: сдать медицинской коллегии. А как вы убедите их принять его? В этом главное затруднение.

– Вы правы. Этот их формализм, канцелярщина...

Новая пауза.

– Да, прекурьюзная история, могу сказать, – снова заговорил Избистер. – Заметили вы, как у него нос заострился и как провалились глаза?

Уорминг поглядел на спящего и ответил не сразу.

– Я сомневаюсь, чтобы он проснулся когда-нибудь.

– Я никогда не мог хорошенько понять, отчего с ним это приключилось, – сказал Избистер. – Он говорил мне что-то такое о переутомлении. Так неужели только от этого? Мне очень хотелось бы знать.

– Он был человек одаренный, но чересчур впечатлительный, нервный, порывистый во всем. У него были серьезные домашние неприятности. Он разошелся с женой и, вероятно, чтоб как-нибудь забыться, очертя голову бросился в политику. Он был фанатик-радикал, вернее, социалист – энергичный, необузданный, дикий. Он вел жестокую полемику со своими противниками, работал как лошадь и надорвался. Я помню его памфлет. Любопытное произведение. Какой-то бред сумасшедшего, но с огоньком. Там было много пророчеств. Большая часть из них провалилась, но два-три сбылись. Впрочем, вообще говоря, читать такие вещи значит время терять... Да, от многого придется ему отказаться и многому поучиться, когда он проснется... если только проснется.

– Дорого бы я дал, чтобы видеть этот момент... послушать, что он скажет, когда оглядится и узнает, как долго он спал, – сказал Избистер.

– И я хотел бы видеть, очень хотел бы, – проговорил Уорминг с недовольным чувством жалости к себе, какое часто бывает у старых людей. – Но я никогда не увижу. – Он замолчал и задумчиво смотрел на восковое лицо спящего. – Этот человек никогда не проснется, – прибавил он и вздохнул. – Никогда.

Глава 3

Пробуждение

Но Уорминг ошибся: Грехэм проснулся.

Что за сложное целое представляет собою эта кажущаяся столь простою единица, которую мы называем человеческим «я». Кто проследит, как происходит ее реинтеграция изо дня в день в момент нашего пробуждения, как растут, переплетаются и сливаются составляющие ее бесчисленные факторы? Кто проследит эти первые движения пробуждающейся души, этот переход от бессознательного к полусознательному вплоть до того момента, когда оно озарится полным светом сознания и мы вновь обретем себя? Такое бывает почти с каждым из нас даже после одной ночи крепкого сна. Так было и с Грехэмом после его долгой спячки. Туманное облако еще неосознанных ощущений сменилось странным чувством жути, и он осознал себя, довольно смутно, правда, слабым, очень слабым, но живым.

Это странствование во мраке в поисках своего «я» заняло, казалось ему, целые века. Чудовищные сны, бывшие для него в свое время страшной действительностью, оставили в его памяти неясные, но тревожные следы, туманные образы странных существ, небывалых пейзажей, точно с другой планеты. Было еще впечатление какого-то важного разговора... Какое-то имя – он никак не мог припомнить его – вертелось у него в голове; потом явилось странное, давно забытое ощущение собственного тела... мучительное сознание бесплодных усилий выплыть на свет, как это бывает с утопающими... Затем перед ним встала незнакомая панорама, в которой все колебалось и сливалось, ослепляя его.

Грехэм понял, что глаза у него открыты, что он смотрит на какой-то непонятный предмет.

Это было что-то белое, похожее на ребро деревянной рамы. Он слегка повернул голову, чтобы лучше рассмотреть этот предмет, но ему не видно было, где он кончается. Он попробовал было отдать себе отчет, где он. Да, впрочем, не все ли равно, когда он чувствует себя таким бессильным и жалким? Мрачное уныние – таков был общий тон его мыслей. Он испытывал чувство беспричинной, неопределенной тоски, как бывает, когда проснешься незадолго до рассвета. Потом ему показалось, что он как будто слышит шепот и поспешно удаляющиеся шаги.

Попытка повернуть голову вызвала в нем ощущение крайней физической слабости. Он думал, что лежит в постели, в гостинице той деревушки, где он останавливался в последний раз; но такой белой рамы над постелью там, помнится ему, не было. Он, очевидно, долго спал. Теперь он припомнил, что у него была бессонница. Вспомнились ему скала, водопад и как он разговаривал с каким-то прохожим...

Долго ли он спал? Кто это сейчас убежал из комнаты? И что это за гомон вдали, который то разрастается, то затихает, точно шум прибоя? Он с усилием протянул руку, чтобы взять часы, которые он всегда клал на ночь на стул возле себя, и наткнулся на что-то гладкое и твердое, похожее на стекло. Это было так неожиданно, что он испугался. Он разом повернулся на бок, с минуту в недоумении смотрел перед собой, потом сделал усилие, чтобы сесть. Это оказалось гораздо труднее, чем он ожидал: у него закружилась голова, он совсем ослабел... «Да что же это такое? Где же я наконец?»

Он протер глаза. Загадочность того, что его окружало, приводила его в тупик, но ход его мыслей был вполне логичен: ясно, что сон освежил его ум. Он заметил, что он совершенно раздет и лежит не на кровати, а на какой-то мягкой упругой подстилке, в ящике из цветного стекла. Подстилка была полупрозрачная, что он заметил с некоторым страхом, а под ней было зеркало, в котором смутно отражалось его тело. К его руке, – он испугался, увидев, как высохла и пожелтела его кожа, – был так искусно прикреплен какой-то гуттаперчевый прибор, что он,

казалось, представлял с ней одно целое. И это странное ложе помещалось в ящике из зеленоватого стекла – так ему, по крайней мере, казалось. Одна из перекладин белой рамы этого ящика и привлекла его внимание в первый момент. В углу ящика стояла подставка с какими-то незнакомыми ему блестящими приборами очень тонкой работы, между которыми он различил только максимальный и минимальный термометры.

Зеленоватый цвет стекловидного вещества, окружавшего его со всех сторон, мешал ему хорошо рассмотреть, что было за ящиком, но он все-таки мог видеть обширный великолепный зал с огромной, лишенной всяких орнаментов аркой, находившейся прямо против него. У самой его клетки была расставлена мебель: стол, накрытый скатертью, серебристой, как рыба чешуя; два-три изящных кресла. На столе стояли разные яства, бутылка и два стакана. Тут только он почувствовал, как он голоден.

В комнате не было ни души. После минутного колебания он сполз со своей прозрачной подстилки и попробовал встать на чистый, белый пол своей клетки. Но он плохо рассчитал свои силы, пошатнулся и, чтобы не упасть, уперся рукой в стекловидную стенку ящика. Она удержала его руку на мгновение, растягиваясь и выпячиваясь наружу, потом вдруг лопнула с легким треском и исчезла, как мыльный пузырь. Ошеломленный, он вылетел из ящика, ухватился за стол, чтоб удержаться на ногах, столкнув при этом на пол один из стаканов, который зазвенел, но не разбился, и опустился в кресло.

Когда он немного опомнился, он взял бутылку, наполнил оставшийся на столе стакан и выпил. Это была бесцветная жидкость, но не вода; она имела очень приятный вкус и запах и обладала свойством быстро восстанавливать силы. Он поставил стакан и стал осматриваться кругом.

Огромный зал ничуть не потерял своего великолепия после того, как исчезла зеленоватая оболочка, сквозь которую он смотрел перед этим. По ту сторону находившейся перед ним высокой арки начиналась лестница, которая вела вниз, в широкую галерею. Вдоль этой галереи, по обе стороны, тянулись колонны из какого-то блестящего камня цвета ультрамарина с белыми прожилками. Оттуда доносился гул человеческих голосов и какое-то ровное и непрерывное гудение.

Теперь Грехэм совершенно очнулся. Он сидел, выпрямившись, и прислушивался с таким напряженным вниманием, что даже забыл о еде. Вдруг ему стало неловко: он вспомнил, что он раздет. Обыскивая глазами, чем бы прикрыться, он увидел на стуле возле себя длинный черный плащ. Он завернулся в этот плащ и снова опустился в кресло, весь дрожа.

Он был совершенно ошеломлен и терялся в догадках. Одно было ему ясно: он спал очень долго, и его куда-то перенесли во время сна. Но куда? И кто эти люди там, за голубыми колоннами, эта толпа, кричащая вдали? Не может быть, чтобы все это было в Боскасле. Он налил из бутылки еще стакан бесцветной жидкости и выпил.

Что это за здание? Где находится этот великолепный зал? И почему ему кажется, что эти стены все время дрожат, точно живые. Он обвел взглядом изящный, простой, без всяких архитектурных украшений зал и увидел в потолке большое круглое отверстие, сквозь которое сверху лился яркий свет. Вдруг он заметил, что на этот светлый круг набежала какая-то тень и скрылась, потом еще и еще. «Тррр, тррр...» – у этой мелькающей тени был свой самостоятельный звук, отчетливо слышимый сквозь глухой ропот толпы, наполнявший воздух.

Он хотел крикнуть, позвать, но голос изменил ему. Он встал и неверными шагами, как пьяный, направился к арке. Спотыкаясь, он кое-как спустился с лестницы, наступил на край бывшего на нем плаща и еле удержался на ногах, ухватившись за колонну.

Он очутился в галерее; перед ним открылась широкая перспектива с преобладанием голубого и пурпурного тонов. Галерея заканчивалась перед ним открытым выступом, обнесенным решеткой, чем-то вроде балкона. Балкон был ярко освещен и висел на большой высоте, но, по-видимому, все вместе представляло внутренность какого-то гигантского здания, потому

что за балконом, как сквозь дымку, виднелись вдали величественные очертания причудливых архитектурных форм. Теперь голоса доносились до него громко и явственно. На балконе спиной к нему стояли, сильно жестикулируя и оживленно о чем-то разговаривая, три человека в роскошных костюмах широкого, свободного покроя и ярких цветов. Через балкон долетали крики огромной толпы. Раз ему показалось, что мимо промелькнула верхушка знамени или флага; потом в воздухе пронеслось что-то бледно-голубое, может быть, подброшенная вверх шляпа, и, описав дугу, упало. Кричали как будто по-английски; очень часто повторялось слово «проснись». Потом он услышал чей-то пронзительный крик, и вдруг три человека на балконе стали громко смеяться.

– Ха-ха-ха! – покатывался один из них, рыжеволосый, в ярко-красном плаще. – Когда проснется Спящий! Ха-ха-ха!

Еще со смехом он оглянулся назад, в сторону галереи, – и замер. Лицо его сразу изменилось. У него вырвался возглас испуга. Двое других быстро обернулись в ту же сторону и тоже окаменели. На их лицах выразилась растерянность, почти ужас.

У Грехэма вдруг подогнулись колени. Его рука, державшаяся за колонну, соскользнула. Он покачнулся и упал ничком.

Глава 4

Отголоски волнений

Последним впечатлением Грехэма, прежде чем он лишился чувств, был оглушительный звон колоколов. Впоследствии ему рассказали, что час он был без сознания, между жизнью и смертью. Когда он наконец пришел в себя, он снова лежал на своем прозрачном гуттаперчевом ложе. Во всем теле и в сердце он ощущал живительную теплоту. Он заметил, что рука его по-прежнему забинтована, но странный резиновый прибор был снят. Его окружала все та же белая рама, но заполнявшее ее зеленоватое стекловидное вещество исчезло. Над ним стоял человек в темно-лиловом плаще – один из тех троих, которых он застал на балконе, – и внимательно всматривался в его лицо.

Откуда-то издалека слабо, но назойливо доносились трезвон и смешанный многоголосый гул. В его воображении встала картина огромной кричащей толпы. Потом сквозь этот шум до него долетел короткий резкий стук, как будто где-то вдали захлопнулась тяжелая дверь.

Он повернул голову.

– Что все это значит? Где я? – с усилием выговорил он.

Тут он увидел рыжего человека – того самого, который первым заметил его. Чей-то голос, ему показалось, спросил: «Что он говорит?» – и другой ответил шепотом: «Молчите».

Потом заговорил человек в лиловом. Он говорил по-английски, с легким иностранным акцентом.

– Не бойтесь, вы в безопасности, – сказал он пониженным голосом, как говорят с больными. – Из того места, где вы заснули, вас перенесли сюда. Вы пролежали здесь довольно долго. Все это время вы спали. У вас была спячка, транс.

Он сказал еще что-то, чего Грехэм не расслышал, потом взял поданный ему кем-то флакон. Грехэм ощутил на лбу прохладную струю какой-то ароматической жидкости, которая удивительно освежила его. Ощущение было такое приятное, что у него от удовольствия сами собою закрылись глаза. Когда он их снова открыл, человек в лиловом спросил его:

– Что, теперь лучше? – Это был еще молодой человек, лет тридцати, с остроконечной белокурой бородкой и с приятным лицом. Его лиловый плащ был застегнут у горла золотой пряжкой. – Лучше вам теперь?

– Да, – ответил Грехэм.

– Вы проспали... некоторое время. Это был каталептический сон. Вы слышите? Каталепсия!.. У вас, должно быть, теперь очень странное ощущение. Но вы не волнуйтесь: все будет хорошо.

Грехэм молчал, но эти слова возымели свое действие: он успокоился. Взгляд его с выражением вопроса перебегал поочередно на каждого из троих окружавших его людей. Они тоже смотрели на него как-то особенно. Он знал, что он должен быть где-то в Корнуэлсе, но представление о Корнуэлсе совершенно не вязалось с этими новыми впечатлениями. Вдруг он припомнил то, о чем думал в Боскасле в последние дни перед своим каталептическим сном. Тогда это было у него почти принятым решением, но почему-то он все не мог собраться привести его в исполнение. Он откашлялся и спросил:

– Телеграфировали ли моему двоюродному брату Уормингу? Улица Чэнсери-Лэн, двадцать семь?

Они внимательно слушали, стараясь понять. Но ему пришлось повторить свой вопрос.

– Как странно он произносит слова, – шепнул рыжий молодому человеку с белокурой бородой.

– Он имеет в виду электрический телеграф, – пояснил третий, юноша лет девятнадцати-двадцати с очень милым лицом.

– Ах, я дурак! И не догадался! – вскрикнул белокурый. – Не беспокойтесь, будет сделано все возможное, – прибавил он, обращаясь к Грехэму. – Только, боюсь, трудновато будет... телеграфировать вашему кузену. Его нет в Лондоне... Но, главное, вы не волнуйтесь и не утомляйте себя этими мелочами. Вы проспали очень долго, и вам необходимо окрепнуть – это прежде всего.

– А-а, – протянул Грехэм неопределенно и замолчал.

Все это было очень загадочно, но, очевидно, эти люди в необыкновенных костюмах знали лучше, что нужно делать. А все-таки странные люди, и комната странная... Должно быть, он попал в какое-нибудь только что основанное учреждение... Тут его осенила новая мысль... подозрение. Может быть, это помещение какой-нибудь публичной выставки? И он пролежал здесь все это время? Как мог Уорминг допустить это?.. Ну, хорошо же: если так, он ему покажет, он с ним поговорит!.. Но нет, не может быть. На выставку не похоже. Да и где же видано, чтобы выставляли напоказ голого человека?

И вдруг неожиданно для себя он понял, что с ним случилось. В один миг, без всякого заметного перехода от подозрения к уверенности, он понял, что спячка его длилась бесконечно долго. Теперь он знал так твердо, словно разгадал каким-то таинственным путем чтения мыслей, что означал этот почтительный, почти благоговейный страх, написанный на лицах окружающих его людей. Он смотрел пронзительным взглядом. И в этом взгляде они, казалось, тоже прочли его мысль. Губы его зашевелились: он хотел заговорить и не мог. И почти в то же мгновение у него явилось необъяснимое побуждение утаить свое открытие от этих людей, желание говорить совершенно прошло. Он молча смотрел на свои голые ноги, весь дрожа.

Ему дали выпить какой-то розовой жидкости с зеленоватой флуоресценцией и с привкусом мяса, и силы его быстро поднялись.

– Это... помогает... Мне лучше теперь, – выговорил он с трудом.

Кругом послышался почтительный шепот одобрения.

Так и есть: он спал страшно долго. Может быть, год или больше. Теперь он знает наверняка. Он снова сделал попытку заговорить, но снова ничего не вышло. Он поднес руку к горлу, откашлялся и с новым отчаянным усилием попробовал в третий раз.

– Долго ли... – начал он, стараясь говорить ровным голосом, – долго ли я спал?

– Да, довольно долго, – ответил белокурый молодой человек, быстро переглянувшись с остальными.

– Сколько времени?

– Очень долго.

Грехэм вдруг рассердился.

– Ну да, я понимаю, – сказал он с нетерпением. – Понимаю, что долго. Но я хочу... хочу знать, как долго. Год? Или, может быть, больше? Несколько лет, может быть? Я хотел еще что-то... Забыл что... У меня путаются мысли. Но вы... – он вдруг зарыдал, – зачем вы от меня скрываете? Скажите, сколько времени...

Больше он не мог говорить. Тяжело дыша и утирая слезы, он молча сидел, ожидая ответа. Они вполголоса о чем-то советовались между собой.

– Ну что же? Сколько лет? – спросил он слабым голосом. – Пять? Шесть?.. Неужели больше?

– Гораздо больше.

– Больше?!

– Да.

Он смотрел на них вопрошающим взглядом. От волнения у него дергалось все лицо.

– Вы проспали много лет, – сказал рыжий.

Грехэм выпрямился. Он смахнул набежавшие слезы своей прозрачной рукой и повторил: «Много лет...» Потом закрыл глаза, опять открыл и в недоумении озираясь вокруг, останавливая взгляд то на одном, то на другом, то на третьем чужом, незнакомом лице.

– Сколько же? – спросил он наконец.

– Вы должны подготовиться... Вы очень удивитесь.

– Ну?

– Более гросса лет.

Это незнакомое слово вывело его из себя.

– Больше чего? Как вы сказали?

Двое старших стали шептаться. До него долетели слова «десятичная система», но к чему они относились, он не разобрал.

– Сколько, вы сказали? – повторил он с гневом свой вопрос. – Говорите же! Не глядите на меня так. Говорите!

Они продолжали шептаться. На этот раз он уловил конец фразы: «Больше двух столетий».

– Что? – вскрикнул он, быстро поворачиваясь к самому молодому, который, как ему показалось, произнес эти слова. – Кто это сказал? Что такое? Два столетия?

– Да, – ответил рыжий, – двести лет.

Грехэм машинально повторил: «Двести лет». Он приготовился услышать большую, очень большую цифру, но это конкретное «двести лет» ошеломило его.

– Двести лет! – повторил он еще раз, напрасно силясь охватить воображением необъятную бездну, разверзшуюся перед ним. Ах, нет, не может быть!

Они молчали.

– Как вы сказали? Повторите еще.

– Двести лет. Ровно два столетия, – повторил рыжий.

Наступила пауза. Грехэм со слабой надеждой смотрел то на одного, то на другого... Но нет, они не смеялись: лица их были серьезны. Он понял, что ему сказали правду.

– Не может быть, – повторил он упрямо, уже и сам не веря себе. – Должно быть, я еще сплю и вижу сон... Вы говорите: спячка. Но спячка никогда не длится так долго. Какое право вы имеете так издеваться надо мной? Скажите правду: ведь это было недавно, несколько дней тому назад, что я шел пешком вдоль берега в Корнуэлсе? Потом я был в Боскасле...

Тут голос изменил ему.

Белокурый молодой человек вопросительно взглянул на друга и нерешительно проговорил:

– Я не силен в истории...

– Боскасль?.. Совершенно верно, – подхватил самый младший из троих. – На юго-западе старого герцогства Корнуэлс было такое местечко. Там еще уцелел один дом – я видел его.

Грехэм повернулся к говорившему:

– В мое время это был целый поселок. Маленькая деревушка... я заснул где-то там... не припомню в точности где... – Он сдвинул брови и прошептал: – Двести с лишком лет... – Ледяной холод сжимал ему сердце.

Вдруг он заговорил быстро-быстро:

– Но ведь если с тех пор прошло двести лет, то, стало быть, не осталось в живых ни души... ни одного человеческого существа, которое я бы знал? Все, все, кого я когда-нибудь видел, с кем я говорил, – все до единого умерли?

Ответа не было.

– Все умерли – богатые и бедные, простые и знатные, – все до одного? Ни нашей королевы нет, ни королевского семейства, ни министров – моих современников, – ни одного из государственных деятелей, которые были при мне?.. Может быть, и Англии нет?.. Англия, вы говорите, существует? Ну, слава богу, хоть одно утешение!.. А Лондон?.. Это Лондон, да? Мы

в Лондоне теперь?.. А вы кто же?.. Пойдите, я знаю, вы мои сторожа. – Он смотрел на них почти безумным взглядом. – Но отчего же я здесь?.. Молчите! Не говорите! Дайте мне...

Он умолк и закрыл лицо руками. Когда он снова поднял голову, перед ним держали наготове второй стаканчик подкрепляющей розовой жидкости. Он выпил все. Лекарство почти мгновенно оказало свое действие. Из глаз его полились обильные слезы и облегчили его.

Наплакавшись вволю, он поднял глаза на своих караульчиков и неожиданно, совсем по-детски засмеялся сквозь слезы.

– Двести лет! – выговорил он.

Губы его передернулись гримасой, и он опять истерически зарыдал и закрыл руками лицо.

Через несколько минут он успокоился. Он сидел, свесив руки с колен, – в той самой позе, в какой его застал Избистер у скалы в Пентарджене два века тому назад. Вдруг он услышал приближающиеся шаги, и чей-то громкий, повелительный голос сказал:

– Что же это вы делаете? Отчего мне не дали знать? Это была ваша обязанность. Вы за это ответите! Никого не пускайте к нему. Заперты двери? Все? Его не надо беспокоить: не надо ему говорить. Ему ничего не сказали?

Белокурый что-то ответил вполголоса. Грехэм повернул голову и увидел подходившего к нему человека маленького роста, толстого, коренастого, с короткой шеей, гладко выбритым лицом, двойным подбородком и орлиным носом. Густые, черные, почти сходящиеся на переносице и слегка нависшие брови, из-под которых смотрели пронзительные серые глаза, придавали его лицу что-то внушительное, почти наводящее страх. Он бросил беглый взгляд на Грехэма и повернулся к белокурому.

– Зачем тут эти двое? – резко спросил он. – Они здесь лишние.

– Прикажете уйти? – спросил рыжий.

– Конечно, уходите пока. Да не забудьте запереть за собой двери.

Двое людей, к которым относилось это приказание, мельком взглянув на Грехэма, послушно повернулись и пошли, но не к арке, как он ожидал, а в противоположную сторону, где была глухая стена. Тут случилась престранная вещь: средняя часть стены с легким треском отделилась в виде широкой вертикальной полосы и начала подниматься, свертываясь валиком, как штора. Пропустив уходивших, она опять упала и слилась со стеной. В комнате теперь остались только трое: Грехэм, белокурый молодой человек и вновь прибывший.

В первые минуты этот человек не обращал никакого внимания на Грехэма: он продолжал допрашивать белокурого, очевидно, своего подчиненного, насчет подробностей важного события – «пробуждения Спящего». Он говорил громко, произносил отчетливо каждое слово, но Грехэму были понятны далеко не все слова. Пробуждение его не столько поразило этого человека, но, судя по тому, как он был взволнован, доставило ему много неприятных хлопот.

– Я вас покорно прошу ничего ему не рассказывать. Не надо его волновать, – твердил он без конца.

Получив ответы на свои вопросы, он быстро повернулся к Грехэму и остановил на нем испытующий взгляд.

– Очень странно вы себя чувствуете?

– Да.

– Вас поражает то, что вы видите? Жизнь очень изменилась, а?

– Что делать, придется привыкать.

– Да, я полагаю.

– Прежде всего... я хотел бы одеться.

– Да, да, вы сейчас получите платье.

Толстяк сделал знак белокурому, и тот вышел.

– Скажите, это правда, что я проспал два столетия? – спросил Грехэм.

– А, вам уже успели сообщить... Да, двести три года, уж если вы хотите знать.

Итак, это был неоспоримый факт. Приходилось примириться с ним. Грехэм ничего не сказал, только брови его сдвинулись и опустились углы рта. Помолчав, он спросил:

– Что это так трещит за стеной? Мельница, верно, работает поблизости или динамо-машина? – И, не дожидаясь ответа, прибавил: – Впрочем, может быть, теперь уже нет ни мельниц, ни динамо-машин? Условия жизни, я думаю, страшно изменились... Что значат эти крики? – задал он новый вопрос, видя, что толстяк молчит.

– Ничего особенного, – ответил тот нетерпеливо. – На улице кричат. Вы все равно не поймете... Потом, может быть, когда узнаете... Вы сами сказали: многое изменилось. – Он говорил отрывисто, хмурил брови и беспрестанно оглядывался, как человек, который попал в трудное положение и старается найти выход. – Подождите немного: скоро вам дадут одежду, а пока побудьте здесь: сюда никто не войдет. Вам еще побриться надо.

Грехэм машинально потрогал свою давно не бритую бороду.

В это время вернулся белокурый молодой человек. Он подошел к ним, но вдруг остановился, прислушиваясь, потом взглянул вопросительно на своего начальника и выбежал через арку на балкон. Долетавшие оттуда крики становились все громче. Толстяк повернул голову и тоже прислушался. Вдруг он пробормотал какое-то проклятие и бросил на Грехэма неприязненный взгляд. Между тем рев толпы все разрастался, то поднимаясь, то падая, как морской прибой. Гневные возгласы, визг, хохот – все сливалось в этом тысячеголосом вое. Один раз слышались короткие, отрывистые звуки, как будто звуки ударов и резкий крик отдаленных голосов, потом что-то щелкало и трещало, точно ломали сухие прутья или хлопали бичом. Грехэм тщетно напрягал слух, стараясь что-нибудь понять в этом гаме.

Но вот он уловил целую фразу, повторенную много раз. Что это? Не может быть! Он не верил ушам...

Но нет, он не ошибся. Там кричали: «Покажите нам Спящего! Покажите нам Спящего!». Толстяк бросился к арке.

– Безумцы! – закричал он. – Как они узнали? Кто им сказал?... Да знают ли они или только догадываются?

Должно быть, ему что-то ответили, потому что он продолжал:

– Я не могу выйти. Мне за ним надо смотреть. Крикните им с балкона.

Опять последовал какой-то ответ.

– Скажите им, что он и не думал просыпаться. Скажите что-нибудь, что хотите! – Он поспешно вернулся к Грехэму. – Вам надо поскорее одеться. Вам здесь нельзя оставаться. Невозможно будет...

И он выбежал вон, не отвечая на вопросы, которыми Грехэм его осыпал. Через минуту он опять вернулся.

– Не спрашивайте. Я ничего не могу вам сказать. Объяснять слишком сложно. Узнаете потом. Сейчас вы получите платье, сию минуту. А потом вы пойдете со мной... Здесь вам быть нельзя. У нас свои неприятности... Вы скоро поймете, в чем дело... слишком скоро, может быть.

– Но что это за голоса? Они кричат...

– О Спящем? Это вы. Они забрали себе в голову... Впрочем, я и сам хорошенько не знаю. Я ничего не знаю. Я...

В комнате раздался резкий звонок, покрывший своим треском долетавший снаружи смешанный шум. Толстяк сломя голову бросился к батарее каких-то приборов, стоявших в углу. С минуту он внимательно слушал, уставившись глазами на какой-то хрустальный шарик, потом кивнул головой, пробормотал невнятно несколько слов и подошел к стене, через которую ушли те двое. От стены опять отделилась средняя полоса и закатилась вверх, как штора. Толстяк стоял, чего-то ожидая.

Грехэм поднял руку и с удивлением почувствовал, как много у него прибавилось сил. Очевидно, это было действие укрепляющих лекарств. Он спустил с постели одну ногу, потом другую. Голова больше не кружилась. Так приятно было чувствовать себя здоровым и бодрым. Он с наслаждением ощупывал свое тело: ему просто не верилось, что это он.

Из-под арки снова появился белокурый молодой человек, и почти в ту же минуту в отверстии раскрытой стены показалась клетка спускавшегося откуда-то лифта. Когда она остановилась, из нее вышел сухопарый, седобородый человек в темно-зеленом в обтяжку костюме с длинным свертком в руках.

– Вот ваш портной, – сказал толстяк Грехэму. – Вам нельзя носить черное. Не понимаю, как попал сюда этот плащ. Такой беспорядок!.. Ну, да мы это разберем... Надеюсь, вы не замешкаетесь? – прибавил он, обращаясь к портному.

Темно-зеленый поклонился, подошел к Грехэму и присел возле него на постель. Держался он очень спокойно, и только сверкавшие любопытством глаза выдавали его.

– Вы найдете моды сильно изменившимися, сэр, – вежливо сказал он Грехэму и бросил беглый взгляд исподлобья на толстяка.

Быстрым привычным движением он развернул свой сверток и разложил у себя на коленях образцы каких-то блестящих материй.

– Вы жили, сэр, в эпоху по преимуществу цилиндрическую – в эпоху викторианизма. Тогда вообще имели слабость к закруглениям: полушарие преобладало даже в головных уборах. А теперь...

Он достал какой-то приборчик, размерами и формой напоминавший карманные часы, нажал в нем какую-то кнопку, и на циферблате прибора, как на экране кинематографа, задвигалась человеческая фигурка в белом. Портной выбрал образчик голубоватой шелковой материи.

– Вот, мне кажется, именно то, что вам требуется, – сказал он.

К ним подошел толстяк и заглянул через плечо Грехэма.

– Пожалуйста, поскорее: время дорого, – сказал он.

– Положитесь на меня, – ответил портной. – Мою машину сейчас привезут... Ну-с, что же вы об этом думаете, сэр? – обратился он к Грехэму.

– Что это у вас за прибор? – спросил, в свою очередь, человек девятнадцатого века.

– Вот, видите ли, в ваши времена были модные журналы. Теперь их вытеснила вот эта самая штучка. Преостроумное изобретение. Смотрите.

Он снова нажал кнопку, и на циферблате прибора выскочила та же фигурка, но уже в новом наряде, более широкого покроя. Щелк, шелк – и опять человек переменял костюм. Все это портной проделал очень быстро, поглядывая в то же время на отверстие в стене, где опускался лифт.

Вот наконец там что-то загрохотало, и снова показалась клетка лифта. На этот раз из нее вышел анемичный, коротко остриженный парень монгольского типа в светло-голубом балахоне из грубого холста. Вместе с ним приехала какая-то сложная машина на колесах, которую он бесшумно вкатил в зал. Портной убрал свой приборчик, попросил Грехэма стать против машины и начал давать инструкции своему анемичному подмастерью, который отвечал на каком-то гортанном наречии, совершенно незнакомом Грехэму. После этого парень отправился в угол, где стояла батарея. Портной между тем вытягивал из машины какие-то рычажки, их которых каждый заканчивался маленьким диском. Потом одним ловким поворотом он направил все эти рычажки таким образом, что каждый диск прилегал вплотную к телу Грехэма: два пришлись на плечах, два на локтях, один на шее и так далее – на всех сгибах. В это время лифт привез еще одного пассажира. Грехэм не мог его видеть, так как стоял спиной к стене. Приладив свои рычажки, портной повернул рукоятку машины, и она заработала с легким ритмическим стуком. Еще минута – и он снял рычажки, остановив машину. Грехэм был

свободен. На него опять накинули плащ, и белокурый молодой человек поднес ему стаканчик с розовым питьем. Тут только он увидел новоприбывшего – юношу с очень бледным лицом, который разглядывал его с нескрываемым любопытством.

Все это время толстяк нервно шагал из угла в угол, косясь на Грехэма. Теперь он вдруг повернулся и вышел через арку на балкон, откуда по-прежнему доносился, то разрастаясь, то замирая, смешанный шум волнующейся толпы.

Между тем подмастерье подал своему хозяину кусок шелковой голубой материи, и они принялись вдвоем всовывать его в машину примерно так, как в девятнадцатом столетии вкладывали бумагу в печатные станки. Затем они откатали машину в противоположный угол зала, где со стены свободной петлей свешивался тонкий кабель. Конец этого кабеля они соединили с машиной, и она сейчас же очень энергично заработала.

– Скажите, какою силой приводятся в действие ваши машины? – спросил Грехэм у белокурого, указывая рукой на суетившихся у кабеля людей и стараясь не замечать преследовавшего его неотступного взгляда бледного юноши. – А этот кабель, верно, проводник энергии? Да?

– Да, – отвечал белокурый.

– А кто такой этот человек?

Он указал в сторону арки, куда скрылся толстяк. Белокурый замялся, нерешительно погладил свою бородку и ответил, понижая голос:

– Это Говард, ваш главный хранитель. Вот видите ли, сэр... Довольно трудно это объяснить... Совет назначил вам трех хранителей – главного и двух помощников. В этот зал допускалась публика – с некоторыми ограничениями, конечно. Каждому, естественно, хотелось удовлетворить свое любопытство, и нам пришлось уступить желанию народа... Но вы меня извините, я не могу... Пусть он сам вам объяснит.

– Странно! – пробормотал Грехэм. – Хранители... Совет... Ничего не пойму! – Потом, повернувшись спиной к новоприбывшему, он спросил вполголоса: – Отчего этот человек так пилит на меня глаза? Он, верно, магнетизер?

– Магнетизер?! О нет. Он капиллотомист, и притом это в своем роде художник – артист своего дела. Он получает в год до шести дюжин львов.

Это звучало уже совсем дико. Грехэм подумал, уж не сходит ли он с ума.

– Шесть дюжин львов? – переспросил он растерянно.

– Ах, да, я и забыл, что в ваше время не было львов. Вы считали по-старинному, на фунты стерлингов... Лев – это наша монетная единица... Да, правда, все изменилось, даже в мелочах. Вы жили в эпоху десятичной системы, арабской. Десятки, сотни, тысячи – такой был у вас счет. У нас же теперь одиннадцать арифметических знаков. Десять и одиннадцать изображаются одним знаком, и только двенадцать – двумя. Двенадцать дюжин составляют гросс, двенадцать гроссов – дозанду, а двенадцать дозанд – мириаду. Совсем просто... А вот и ваше платье готово, – прибавил белокурый, взглянув через плечо Грехэма.

Грехэм быстро оглянулся: за ним стоял, улыбаясь, портной и держал новое платье, бережно перекинув его через руку, а его подмастерье уже откатывал свою странную машину к клетке лифта, подталкивая ее одним пальцем. Грехэм вытаращил глаза.

– Да неужто вы уже успели... – начал было он.

– Только что кончил, – ответил портной.

Он положил платье возле Грехэма, отошел к постели, на которой тот недавно лежал, откинул прозрачный матрас и приподнял бывшее под ним зеркало таким образом, чтобы можно было смотреться в него.

В это время в углу раздался неистовый трезвон. Толстяк бросился туда со всех ног. Белокурый побежал за ним, спросил его о чем-то и выбежал в галерею.

Покуда портной помогал Грехэму натянуть нижний костюм – темно-красное трико, заменявшее чулки, панталоны и сорочку, белокурый вернулся с балкона, и толстяк, увидев его, быстро пошел ему навстречу. Они стали торопливо шептаться. В манере обоих, в каждом их движении чувствовались тревога и страх.

Когда на Грехэма поверх трико накинули какое-то сложное, но красивого покроя одеяние из голубоватой ткани, он представлял из себя довольно странную фигуру: небритый, с желтым лицом, еще дрожащий от слабости. Но теперь он был, по крайней мере, одет, и даже по последней моде. Он погляделся в зеркало и остался доволен собой.

– Мне надо еще побриться, – сказал он.

– Сию минуту, – отозвался Говард.

При этих словах бледный юноша, преследовавший Грехэма неотступными взглядами, выступил вперед. Он на секунду зажмурился, снова широко раскрыл глаза и подошел к нему вплотную. Потом остановился, оглянулся назад и сделал плавный жест рукой.

– Подайте стул, – нетерпеливо приказал Говард.

Белокурый засуетился, и в один миг за спиной у Грехэма очутился стул.

– Садитесь, – сказал ему Говард.

Грехэм заметил, что в правой руке у пучеглазого сверкнула сталь. Он не решался сесть, опасливо поглядывая на него.

– Что же вы, сэр? Или вы не поняли? – напомнил ему белокурый учтиво, но с ноткой нетерпения в голосе. – Садитесь. Он вас побреет и острижет.

– Ах, вот что? – пробормотал Грехэм с облегчением.

– Но вы сказали, кажется, что он...

– Капиллотомист? Ну да. Он лучший художник в мире в этой области.

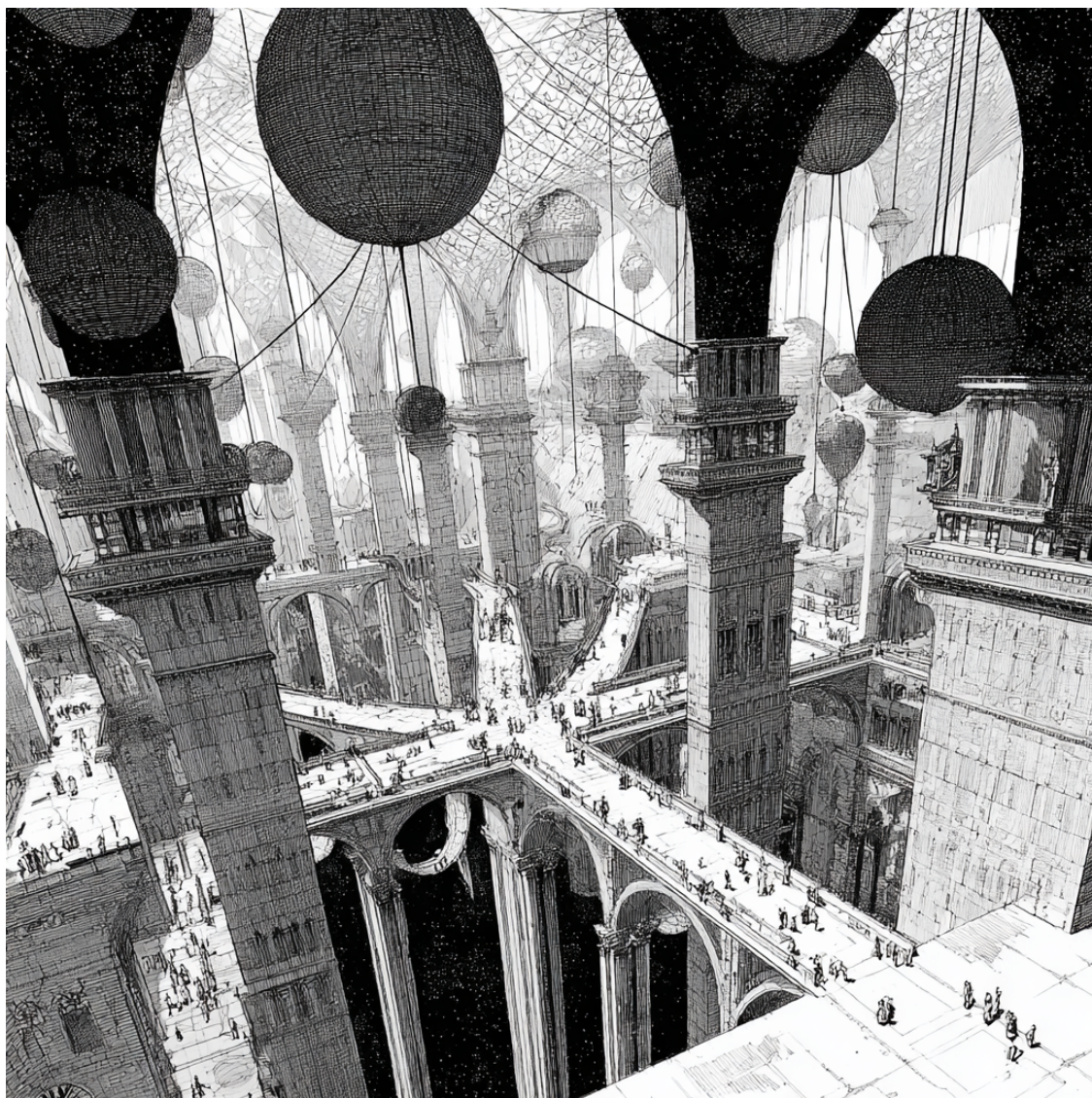
Грехэм сел. Белокурый куда-то исчез. Пучеглазый, грациозно изгибаясь, ощупал Грехэму затылок, темя, уши и, вероятно, еще долго производил бы свое исследование, если бы Говард не торопил его. Видя, что приходится поторопиться, он приступил к делу. Ловко и быстро пустая в ход один за другим какие-то невиданные инструменты, он выбрил Грехэму подбородок, подправил усы, постриг и причесал волосы. Всю эту операцию он проделал, не проронив ни звука, с вдохновенным видом поэта. Как только он кончил, Грехэму подали башмаки.

Вдруг из угла, где стояли таинственные приборы, раздался громкий голос: «Скорее! Скорее! Народ узнал. Весь город в волнении. Прекращают работу. Не мешкайте ни минуты. Идите!».

Это воззвание страшно взволновало Говарда. Он заметался от арки к лифту и от лифта к углу, не зная, куда ему кинуться прежде. Потом, очевидно решившись, направился в угол и погрузился в созерцание хрустального шарика. Между тем глухой гул голосов, непрерывно долетавший со стороны арки, все усиливался. На один миг он превратился в дикий рев и снова стал замирать, точно раскат удаляющегося грома. Грехэма неудержимо потянуло туда, в галерею. Он бросил исподтишка быстрый взгляд на Говарда и, отдаваясь своему порыву, юркнул под арку. В два прыжка он очутился внизу и в следующий момент уже стоял на том самом балконе, где после пробуждения он застал трех человек.

Глава 5

Движущиеся улицы



Он подбежал к решетке балкона. Откуда-то снизу до него донеслись громкие крики кишевшей на огромном пространстве волнующейся толпы. При его появлении в этих криках послышалось изумление.

Подавляющая грандиозность того, что он увидел, – вот первое, что поразило его. Под ним была площадь необычайных размеров, окруженная гигантскими зданиями. Вокруг всего широкого пространства площади стояли колоссальные кариатиды, поддерживая узорчатую, необыкновенно тонкой работы крышу из какого-то прозрачного вещества. Подвешенные наверху громадные шарообразные фонари разливали кругом такой ослепительно яркий свет, что перед ним меркли солнечные лучи, проникающие сквозь переплет крыши. Там и сям над этой глубиной висели легкие, как паутина, мостики, усеянные прохожими. В воздухе по всем направлениям были протянуты тонкие кабели.

Он видел над собой массивный фронтон ближайшего здания, противоположный же фасад был так далеко, что представлялся ему как в тумане: весь он был прорезан какими-то

арками, большими круглыми отверстиями вроде бойниц, усеян балконами, башенками, широкими окнами и какими-то мудреными барельефами и испещрен по всем направлениям надписями, составленными из непонятных букв. В круглые отверстия, проделанные в стене этого здания, были проведены особенно толстые кабели, прикрепленные под крышей площади в разных местах. Едва успел Грехэм заметить эти кабели, как внимание его привлекла крошечная человеческая фигурка в светло-голубом. Человек лепился под самой крышей на каменном выступе у места прикрепления одного из кабелей. Свесившись вперед, он возился с какими-то проводами, соединенными с главным кабелем, почти невидным на таком расстоянии. Вдруг он так стремительно бросился вниз, что у Грехэма замерло сердце, и, скользя по кабелю с головокружительной быстротой, исчез в одном из круглых отверстий здания по ту сторону площади.

До сих пор Грехэм смотрел только вверх и прямо перед собой, и то, что он видел, до такой степени завладело его вниманием, что он долго не замечал ничего другого. Но каково же было его изумление, когда он взглянул наконец вниз! Под ним была улица, но совсем не такая, к каким он привык. В девятнадцатом столетии улицами назывались полосы твердого, неподвижного грунта, вдоль которых посередине ехали экипажи, а по бокам шли пешеходы. А эта улица была футов в триста шириною и... двигалась. Двигалась вся, за исключением середины, которая была ниже краев. В первый момент это ошеломило его, но потом он понял, в чем дело.

Под балконом, где он стоял, эта необыкновенная улица неслась слева направо, неслась непрерывным потоком со скоростью курьерского поезда девятнадцатого века. Это была бесконечная платформа, составленная из отдельных, сцепленных между собою площадок, что позволяло ей следовать по всем поворотам пути. По всей платформе были расставлены скамьи, местами виднелись киоски. Но все это мчалось с такой быстротой, что он не мог рассмотреть подробностей. Таких движущихся платформ было несколько, все они шли параллельно одна другой. Ближайшая к нему, наружная, платформа двигалась с наибольшей быстротой; смежная с ней, бывшая немного пониже, двигалась тише; следующая – еще тише и так далее. Разница в скорости движения была так мала, что позволяла легко переходить с одной платформы на другую и таким образом перебираться на середину улицы, которая была неподвижна. А за этой неподвижной средней полосой начинался новый ряд платформ, которые тоже двигались с постепенно увеличивающейся быстротой, но только в обратную сторону, справа налево. Все эти платформы кишели народом. Это была необыкновенно пестрая толпа. Одни на наружных платформах сидели группами, как в вагонах, другие переходили с платформы на платформу, направляясь к середине на неподвижной полосе.

– Вам нельзя здесь быть! – закричал Говард, неожиданно очутившийся возле него. – Сейчас же уходите!

Грехэм ничего не ответил. Он слышал слова, не вникая в них. Бегущие платформы грохотали, народ кричал. В этой пронесившейся мимо толпе особенно выделялись молодые женщины, с распущенными волосами, в необыкновенно красивых и оригинальных нарядах, с какими-то перевязями на груди. Потом он заметил, что преобладающим цветом в этом калейдоскопе костюмов был светло-голубой. Он вспомнил, что такого цвета платье было и на подмастерье портного. До него донеслись крики: «Где Спящий? Что сделали со Спящим?» И вдруг вся ближайшая к нему платформа покрылась светлыми пятнами человеческих лиц. Поднимались руки, на него указывали пальцами. Он заметил, что на том месте неподвижной полосы улицы, которое приходилось против балкона, выросла густая толпа людей в голубом. Там завязалась какая-то борьба. Людей разгоняли в обе стороны, толкая на бегущие платформы, которые и увозили их против воли. Но, отъехав на приличное расстояние от места свалки, они сейчас же соскакивали опять на середину улицы и возвращались назад.

«Это Спящий, право, это Спящий!» – кричали одни. «Да нет, совсем не он!» – перебивали другие. Все больше и больше лиц обращалось вверх, к балкону.

Грехэм заметил, что по всей длине средней полосы улицы, на равных расстояниях один от другого, темнели открытые люки, служившие, по-видимому, началом лестниц, уходивших вниз, под землю. По всем этим лестницам вверх и вниз сновали люди. Один из ближайших к нему люков оказался центром разгоревшейся борьбы. Сюда сбегались голубые с движущихся платформ, ловко перепрыгивая с одной на другую. Внимание толпы на внешних платформах делилось между этим люком и балконом. Десятка два дюжих молодых в ярко-красной форме, действовавших очень методично и дружно, были, по-видимому, приставлены к люку, чтобы никого не пускать вниз. Толпа вокруг них быстро росла. Яркий цвет мундиров резко отличался от светло-голубых костюмов их противников, – да, противников, так как было ясно, что между красными и голубыми происходит борьба.

Грехэм с жадным любопытством смотрел на эту картину, не обращая внимания на Говарда, который что-то кричал ему в ухо и тряс его за плечо. Потом Говард вдруг куда-то исчез, и Грехэм остался один.

Толпа продолжала кричать: «Вон Спящий, смотрите!» – и все новые и новые голоса подхватывали этот крик. Сидевшие на наружной, ближайшей к Грехэму, платформе вставали, и он заметил, что люди покидали ее по мере удаления от балкона. То же происходило и по ту сторону улицы на наружной платформе, мчавшейся в противоположном направлении: к балкону она приближалась, переполненная народом, а удалялась пустая. Толпа в середине улицы росла с невероятной быстротой: это было какое-то живое, волнующее море. Отдельные крики «Спящий! Спящий!» слились в один сплошной непрерывный ликующий рев. Махали платками, слышались крики: «Остановить улицы!» Выкрикивалось еще какое-то имя, совершенно неизвестное Грехэму: «Острог» или что-то в этом роде. Нижние платформы вскоре тоже переполнились народом, бежавшим навстречу их движению, чтобы не удалиться от балкона.

«Остановите, остановите улицы!» – раздавалось со всех сторон. Многие быстро перебежали с середины улицы на ближайшую платформу, пронеслись мимо, выкрикивая какие-то непонятные слова, потом соскакивали на смежные платформы и бегом возвращались назад с криком: «Да, да, это Спящий, это он!».

Сначала Грехэм стоял не шевелясь, но мало-помалу он понял, что эти крики относятся к нему. Эта неожиданная популярность очень польстила ему, и, желая как-нибудь выразить свою признательность, он поклонился и помахал рукой. Это вызвало такую бурю восторга, что он был поражен.

Свалка у люка приняла ожесточенный характер. Балконы переполнились людьми. Люди скользили по кабелям, пронеслись по воздуху через всю огромную площадь, сидя на каких-то трапезиях. Он услышал за собой голоса: по лестнице, со стороны арки, бежали несколько человек. Он вдруг почувствовал, что его схватили за руку, и, обернувшись, увидел перед собой Говарда, кричавшего ему что-то, чего он за шумом не мог разобрать. Говард был бледен как полотно.

– Уйдите отсюда, – слышал он наконец. – Они остановят улицы. Поднимется настоящий содом.

Грехэм увидел, что по галерее между колоннами бегут еще люди. Впереди была его стража – рыжий и белокурый – и еще какой-то высокий человек в красном мундире, а за ним бежала целая толпа других в такой же форме с жезлами в руках. У всех были встревоженные, перепуганные лица.

– Уведите его! – закричал Говард.

– Зачем? – спросил Грехэм. – Я не понимаю...

– Говорят вам – уходите! – сказал человек в красном решительным тоном. Не менее решительным было и выражение его глаз. Грехэм обвел взглядом окружающие его лица и тут в первый раз испытал самое неприятное ощущение из всех, какие бывают у человека – сознание своего бессилия против грубой силы. Кто-то схватил его за руку... Его потащили с бал-

кона. Тогда шум, доносившийся с улицы, удвоился и изменил характер: казалось, половина кричавших там голосов перенеслась наверх, в галерею огромного здания, в котором был он. Ошеломленного, растерявшегося, тщетно пытающегося сопротивляться Грехэма протащили через всю галерею, и не успел он опомниться, как очутился один с Говардом в клетке лифта, быстро уносившего их вверх.

Глава 6

Зал Атласа

С того момента, как ушел портной, и до того, когда Грехэм с Говардом очутились в лифте, прошло не более пяти минут.

Грехэма все еще окутывал туман его бесконечно долгой спячки: все еще непривычное для него сознание того, что он жив и живет в столь далекую от его прежней жизни эпоху, придавало в его глазах всему окружающему отпечаток чудесного, сказочного. Все, что он видел, было для него сном наяву. Он все еще был недоумевающим зрителем, оторванным от жизни, участвовавшим в ней лишь наполовину. Все его новые впечатления, особенно эта бушующая, ревущая толпа, которую он видел в рамке балкона, имела для него характер театрального представления, как будто он смотрел из ложи на сцену.

– Я не понимаю, – сказал он. – Из-за чего вся эта кутерьма? У меня мутится ум. Чего они требуют? Кому грозит опасность?

– Мы переживаем смутное время, – ответил Говард, избегая пытливого взгляда Грехэма. – Дело в том, что ваше появление, ваше пробуждение именно в данный момент как раз совпало с...

Он круто оборвал речь. Он говорил вообще с трудом, точно у него перехватило дыхание.

– Я не понимаю, – сказал Грехэм.

– Поймете позже, – отвечал Говард.

Он с беспокойством поглядел вверх, как будто ему казалось, что лифт подымается слишком тихо.

– Надеюсь, что пойму, когда немного осмотрюсь, – проговорил Грехэм неуверенно. – А пока все это ошеломляет меня. Все кажется возможным, всему можно поверить, всему... У вас и счет, как я слышал, другой.

Лифт остановился. Они вышли и очутились между высокими стенами длинного узкого коридора, вдоль которого тянулись сотни толстых кабелей и труб.

– Неужели мы все в одном и том же здании? – спросил Грехэм. – Где мы?

– Это центральная сеть проводов, служащих для разных общественных надобностей, – освещения и так далее.

– А что это было на улице, под балконом? Бунт? Какое у вас управление? Полиция у вас еще есть?

– И даже не одна, – ответил Говард.

– Не одна?

– Да, целых четырнадцать видов.

– Ничего не понимаю.

– Ничего нет удивительного. Наш общественный строй, наверное, покажется вам очень сложным. А по правде сказать, я и сам плохо в нем разбираюсь. Да и не я один... Вы, может быть, поймете со временем... Ну, идемте в Совет.

Внимание Грехэма все время раздваивалось. Ему хотелось успеть побольше расспросить Говарда обо всем, но его беспрестанно отвлекали новые впечатления, новые встречи в коридорах и залах, по которым они проходили. Мысли его то сосредоточивались на Говарде и его уклончивых ответах, то обрывались под ярким впечатлением чего-нибудь нового, неожиданного. Половина людей, попадавшихся им в коридорах и залах, были в красных мундирах. Светло-голубых холщовых костюмов, которые преобладали на движущихся улицах, здесь не было и следа. Все эти люди с любопытством смотрели на него и кланялись ему и Говарду.

Помнилось ему также, что они проходили каким-то длинным коридором, где было много маленьких девочек. Все они сидели рядами на низких скамейках, точно в классе. Учителя не было, а вместо него стоял какой-то невиданный аппарат, из которого, как ему показалось, исходил человеческий голос. Девочки с удивлением и любопытством разглядывали его и провожаемого. Но его увлекли дальше, прежде чем он успел отдать себе отчет, что это было за сборище детей. Он решил про себя, что внимание попадавшихся им навстречу людей относилось не к нему, а к Говарду. Говард был, по-видимому, важной персоной, его же, Грехэма, ведь никто не знал. А между тем тот же Говард был приставлен к нему сторожем. Странно!..

Потом ему, как во сне, представлялся другой проход, над которым висел пешеходный мостик на такой высоте, что видно было только ноги проходивших по нему. У него осталось смутное впечатление еще каких-то переходов и встречных прохожих, которые оборачивались и с изумлением глядели вслед им обоим и сопровождавшему их конвойному в красном мундире!

Действие подкрепляющего питья, которое ему давали раньше, начинало проходить. Он скоро устал от быстрой ходьбы и попросил Говарда идти потише. Вскоре они опять сидели в клетке лифта. В ней было окно, выходившее на ту самую площадь, на которую он смотрел с балкона. Но окно было из не вполне прозрачного стекла и закрыто, и, кроме того, они были на большой высоте, откуда нельзя было различать движущихся улиц. Но зато он видел, как люди проносились в воздухе, скользя по кабелям, и сновали по хрупким, легким, как кружева, мостикам.

Потом они вышли из лифта и перешли улицу по узкому стеклянному крытому мосту, висевшему над ней на огромной высоте. Пол моста был тоже стеклянный, так что у него голова закружилась, когда он нечаянно посмотрел вниз. Ему вспомнились скалы между Нью-Кеем и Боскалем, которые он представил себе так живо, как будто видел их вчера, и он решил, что этот мост должен находиться на высоте футов четырехсот над движущимися улицами. Он остановился и посмотрел себе под ноги, вниз, на копошившуюся там красно-голубую толпу людей, казавшихся крошечными на таком расстоянии, по-прежнему махавших руками и продаивавшихся к балкону – к игрушечному балкончику, каким он ему представлялся теперь и на котором он недавно стоял. На этой высоте свет огромных осветительных шаров был так ярок, что по контрасту с ним все, что было внизу, казалось подернутым мглой.

Вдруг откуда-то сверху, с еще более высокого пункта, сорвался человек, сидевший в открытой корзинке, – сорвался так стремительно, точно упал, – и, скользя по кабелю, пронесся мимо них. Глаза Грехэма невольно приковались к этому странному путешественнику, и только когда тот исчез в круглом отверстии стены ниже моста, взгляд его опять обратился на бушевавшую внизу толпу.

Одна из наружных платформ мчалась, вся красная от покрывавшей ее сплошной массы красных мундиров. Когда она поравнялась с балконом, эта красная масса распалась на отдельные красные пятнышки и полилась с платформы на платформу к тому месту у люка, где происходила борьба.

Оказалось, что все эти красные люди были вооружены дубинками, которыми они действовали очень ловко, расшвыривая толпу. Раздался тысячеголосый яростный вопль, долетевший до Грехэма наполовину заглушенным.

– Вперед! – крикнул Говард, толкая его.

В эту минуту еще какой-то человек бросился по кабелю вниз. Грехэм хотел посмотреть, откуда он слетел, и, взглянув вверх, увидел сквозь стеклянную крышу моста и сквозь сеть переплетающихся над ней кабелей неясные очертания вертящихся лопастей, напоминавших крылья ветряных мельниц, и между ними просветы далекого бледного неба. Но тут Говард опять потащил его вперед.

– Я хочу посмотреть, – начал было Грехэм упираясь.

– Нет, нет, нельзя останавливаться, идите за мной! – закричал Говард, еще крепче сжимая его руку. Красные конвойные, сопровождавшие их, уже готовы были, как ему показалось, подкрепить это приказание более осязательным воздействием, и он должен был покориться. Вскоре они вошли в узкий коридор, все стены которого были испещрены геометрическими фигурами.

В глубине коридора показалось несколько негров в черных с желтым мундирах, с узким перехватом у талии, отчего они были похожи на ос. Один из них поспешно отодвинул к стене какой-то щит, оказавшийся дверью, дал им пройти и повел их куда-то дальше. Они очутились в галерее, выступавшей в виде хор над одним концом высокого зала, или, вернее, огромного вестибюля. На противоположном конце подымавшиеся вверх ступени широкой лестницы вели к величественному portalу, полузавешенному тяжелой драпировкой. Здесь тоже стояли навзрыж негры в черных с желтым мундирах и белые люди в красном. Сквозь портал был виден другой зал, еще больших размеров.

Сопровождавший их черный слуга прошел вперед, отодвинул второй щит и остановился в ожидании. Проходя по галерее, Грехэм слышал, как шептались внизу, и видел, что все головы поворачивались в его сторону. «Спящий! Спящий!» – донеслось до него. Через узкий проход, сделанный в стене вестибюля, они вышли в другую галерею, железную, ажурной работы. Она тянулась вокруг того самого большого зала, который он уже видел сквозь портал. Только теперь, очутившись в этом зале, он получил полное представление о его колоссальных размерах. Черный слуга с тонкой, как у осы, талией отступил в сторону, как подобает хорошо выдрессированному рабу, и задвинул за ними щит.

Все то, что Грехэм видел до сих пор, по роскоши убранства не могло идти в сравнение с этими хорами. В противоположном конце зала, ярко освещенная, стояла гигантская, могучая белая фигура Атласа, в напряженной позе, с земным шаром на согнутой спине. Эта фигура поразила его: она была так колоссальна, так реальна в своем терпеливом страдании, так проста... Если не считать этой гигантской фигуры да высокой эстрады посередине зала, он был совершенно пуст. Эстрада терялась в огромном пространстве этой пустыни, и только группа из семи человек, стоявших на ней вокруг стола, давала понятие о ее настоящих размерах. Все эти люди были в белых мантиях. По-видимому, они поднялись со своих мест при появлении Грехэма и теперь в упор смотрели на него. На одном конце стола сверкала сталь каких-то механических приборов.

Говард провел его по галерее до того места, которое приходилось прямо против могучей, согнувшейся под тяжестью своей ноши фигуры. Тут они остановились. Два красных конвоира, не отстававшие от них ни на шаг, стали по бокам Грехэма.

– Постойте здесь, я сейчас вернусь, – пробормотал Говард и, не дожидаясь ответа, побежал куда-то дальше по галерее.

– Позвольте, – начал Грехэм и двинулся было вслед за Говардом, но один из красных загородил ему дорогу.

– Извольте оставаться здесь, сэр, – сказал он. – Так приказано.

– Кем?

– Все равно кем. Приказ.

Грехэм покорился.

– Что это за здание, – спросил он, – и кто эти люди?

– Члены Совета, сэр.

– Какого Совета?

– У нас один Совет.

– А... – пробормотал Грехэм и после безуспешной попытки заговорить с другим конвойным подошел к решетке галереи и стал смотреть на людей в белом, которые стояли внизу и, в свою очередь, смотрели на него, о чем-то перешептываясь.

Теперь он насчитал их восемь человек, хотя и не заметил, когда появился восьмой. Ни один из них не сделал ему знака приветствия. Они стояли и смотрели на него, как в девятнадцатом столетии остановившаяся на улице кучка людей могла бы смотреть на воздушный шар, неожиданно показавшийся вверху. Что это за таинственное собрание? Кто эти восемь человек, стоящие у ног внушительного белого колосса среди пустыни этого огромного зала, где их не могут подслушать ничьи нескромные уши? Зачем его поставили перед ними и зачем они так странно смотрят на него и говорят о нем шепотом, так что он не может их слышать? Внизу показался Говард. Он быстро шел через зал, направляясь к эстраде. Перед ступенями эстрады он остановился, отвесил глубокий поклон и проделал ряд своеобразных движений, как это, очевидно, полагалось по церемониалу. Потом он поднялся по ступенькам и стал у того конца стола, где были расставлены таинственные приборы. С ним заговорил один из членов Совета.

Грехэм с любопытством следил за их неслышной беседой. Он видел, как собеседник Говарда поглядывал наверх, в его сторону. Он тщетно напрягал слух: до него не долетало ни звука. Но, судя по энергичной жестикуляции обоих собеседников, разговор принимал все более и более оживленный характер. В недоумении он поднял вопрошающий взгляд на своих сторожей, но их бесстрастные лица ничего не сказали ему... Когда он снова глянул вниз, он увидел, как Говард разводил руками и качал головой, явно протестуя. Его прервал один из белых сановников, ударив рукой по столу.

Разговор тянулся бесконечно долго – так, по крайней мере, казалось Грехэму. Он поднял глаза на безмолвного великана, у ног которого заседал Совет, потом взгляд его стал блуждать по стенам. Они были сплошь покрыты рисунками в японском вкусе, вставленными в рамы из темного металла. Воздушная грация этих рисунков еще более усиливала внушительное впечатление, которое производила могучая белая фигура гиганта, застывшего в своей напряженной позе.

В то время как Грехэм вспомнил о Совете и снова посмотрел вниз, Говард спускался с эстрады. Когда он подошел настолько близко, что можно было рассмотреть его лицо, Грехэм заметил, что он очень красен и отдувается, как человек, только что покончивший с трудной задачей. Следы волнения еще оставались на его лице даже и тогда, когда он поднялся на галерею.

– Сюда, – сказал он коротко, и все четверо направились к маленькой двери, которая отворилась при их приближении. Красные конвойные стали по бокам этой двери, а Говард попросил Грехэма войти. На пороге он обернулся назад и увидел, что белые члены Совета все еще стоят на прежнем месте тесной группой и смотрят ему вслед. Потом тяжелая дверь затворилась за ними, и первый раз с момента своего пробуждения Грехэм очутился в полной тишине. Даже пол был затянут войлоком, так что не слышно было шагов.

Говард отворил вторую дверь, и они вошли в первую из двух смежных комнат, в которой все убранство было белого и зеленого цвета.

– Что это за Совет? – спросил Грехэм. – О чем они совещались? Что они намерены сделать со мной?

Говард тщательно запер дверь, тяжело перевел дух и что-то пробурчал себе под нос, потом прошелся по комнате и остановился перед Грехэмом отдуваясь.

– Уф! – вырвалось у него с облегчением. Грехэм смотрел на него и ждал.

– Надо вам знать, – начал Говард, избегая его взгляда, – что наш общественный строй очень сложен. Всякое неполное объяснение может дать вам совершенно ложное представление о нем. Все дело тут отчасти в том, что ваш маленький капитал вместе с завещанным вам состоянием вашего кузена Уорминга, увеличиваясь из года в год процентами и процентами на проценты, вырос до чудовищной цифры. А кроме того, и по другим причинам, – я не могу вам объяснить почему, – вы стали важным лицом, настолько важным, что можете влиять на судьбы мира.

Он замолчал.

– Ну и что же? – спросил Грехэм.

– У нас теперь трудное время... Народ волнуется...

– Ну?

– Ну, словом, дела обстоят таким образом, что признано целесообразным изолировать вас.

– То есть посадить меня под замок?

– Нет... только просить вас побыть некоторое время в уединении.

– Это, по меньшей мере, странно, – возмутился Грехэм.

– Вам не сделают никакого вреда, но вам придется посидеть...

– Пока мне не растолкуют, какое отношение имеет моя личность к вашим общественным делам?

– Именно.

– Прекрасно. Так начинайте же ваши объяснения. Почему вы сказали: «Не сделают вреда»? Разве и это было под сомнением?

– Сейчас я не могу ответить на этот вопрос.

– Почему?

– Это слишком длинная история, сэр.

– Тем больше причин начать не откладывая. Вы говорите, я важная особа. В таком случае вы должны исполнить мое требование. Я хочу знать, что значат крики толпы, которые я слышал с балкона? Какое отношение имеют они к тому, что я очнулся от моей многолетней спячки? И кто те люди в белом, которые сейчас совещались обо мне?

– Все в свое время, не торопитесь, – сказал Говард. – Мы переживаем переходное время: никто ни в чем не уверен. Ваше пробуждение... Никто не ожидал, что вы проснетесь. Это событие и обсуждает Совет.

– Какой Совет?

– Тот, который вы видели.

Грехэм сделал порывистое движение.

– Это черт знает что! Вы обязаны все мне рассказать!

– Вооружитесь терпением. Я очень вас прошу, подождите.

Грехэм резко опустил на стул.

– Я так долго ждал возвращения к жизни, что, очевидно, могу и еще подождать, – сказал он.

– Вот так-то лучше, – одобрил Говард. – А теперь мне придется оставить вас... ненадолго. Мне нужно быть в Совете... Извините.

Он направился к выходу, приостановился было в нерешительности, потом бесшумно отворил дверь и исчез.

Грехэм попробовал дверь и убедился, что она заперта каким-то особенным, неизвестным ему способом, потом он повернулся, походил из угла в угол и сел. Он долго сидел неподвижно со скрещенными руками и нахмуренным лбом, стараясь связать в одно целое все пестрые впечатления первых часов своей новой жизни. Эти гигантские сети протянутых в воздухе кабелей, паутина висячих мостов, эти огромные залы, бесконечные переходы; эта бурная волна народного движения, заливающая улицы, потом эта кучка белых людей у ног колоссального Атласа, – людей, явно недоброжелательно к нему настроенных; загадочное поведение Говарда, его обмолвки о каком-то огромном капитале, который по праву принадлежит ему, Грехэму, но которым, может быть, уже успели распорядиться без него; намеки на чуть ли не мировое значение его личности – всего этого никак не мог вместить его ум. Что он должен делать? Вернее, что он может сделать? Эти законопаченные комнаты красноречиво говорили о том, что он узник.

На одну минуту ему показалось несомненным, что весь этот ряд подавляющих впечатлений – просто сон. Он попробовал закрыть глаза, что оказалось не трудно, но это освященное временем средство не привело к пробуждению.

Потом он принялся исследовать все незнакомые детали обстановки обеих маленьких комнат, куда его заперли.

В большом овальном зеркале он увидел свое отражение и был поражен: на нем был изящный костюм, пунцовый со светло-голубым. Остроконечная, с легкой проседью борода и полуседые волосы, оригинально, но красиво зачесанные надо лбом, совершенно меняли его лицо. Теперь ему можно было дать на вид лет сорок пять. В первую минуту он не узнал себя. И громко расхохотался, когда наконец узнал.

«Вот зайти бы к Уормингу в таком виде и предложить ему пойти со мной позавтракать в ресторане!» – мелькнуло у него в голове.

Продолжая смеяться, он стал перебирать одного за другим тех немногих близких друзей своей молодости, над кем можно было бы теперь так хорошо подшутить, и вдруг вспомнил, что из всех людей не осталось в живых ни души, что все они умерли много десятков лет тому назад. Сердце его сжалось острой болью, смех разом оборвался и сменился выражением отчаяния на побледневшем лице.

Но потом более яркая, волнующая картина огромных зданий и этих удивительных движущихся улиц, запруженных народом, снова выступила на первый план. Отчетливо, как живые, представились ему толпы кричащих людей и эти неслышно совещающиеся вдали сановники в белом, в которых он чувствовал врагов. Какую маленькую, ничтожную фигурку представляет он собою! Как он бессилен и жалок при всем своем «мировом значении»! И как странно, как непонятно все, что его окружает, – весь мир!

Глава 7

В покоех безмолвия

Но надо было жить, надо было чем-нибудь наполнять свое время. Грехэм вздохнул и принялся за осмотр своего помещения. Любопытство пересиливало и усталость, и тоску.

Первая комната была очень высока, с потолком в виде купола. Посередине этого купола был овальный прорез, выходящий на крышу воронкой, и снизу были видны широкие лопасти вращавшегося в нем колеса, очевидно, приспособления для вентиляции. Слабое гудение колеса было единственным звуком, нарушавшим тишину. В промежутках между тихо вертевшимися лопастями мелькали полосы темного неба, и вдруг Грехэм увидел звезду.

Это очень его удивило и заставило обратить внимание на тот факт, что в комнате не было окон. Он осмотрел ее внимательнее и заметил, что своим ярким освещением, не уступавшим дневному свету, она была обязана маленьким лампочкам, которыми были усеяны все карнизы. Тогда он стал припоминать и вспомнил, что ни в одном из огромных коридоров и залов, которыми они с Говардом проходили, он не заметил окон. Правда, он видел несколько окон, выходящих на улицу, но для освещения ли предназначались они? Быть может, они имели другое назначение. Может быть, этот город освещается искусственным светом и ночью и днем, так что в нем никогда не бывает темно?

Поразила его еще одна вещь: ни в той, ни в другой комнате не было камина. Может быть, на дворе стояло лето и эти комнаты были летним помещением? Или, быть может, весь город равномерно отапливается зимой и так же равномерно охлаждается летом? Его это заинтересовало. Он тщательно ощупал гладкие стены, осмотрел все карнизы, углы: нигде не было и следов каких-нибудь проводов для отопления. В одном углу стояла кровать, на вид очень простая, но с целым ассортиментом остроумных приспособлений, позволявших обходиться без посторонних услуг. Все вообще поражало полным отсутствием вычурных украшений при необыкновенной красоте форм и таком приятном сочетании цветов, что нельзя было оторвать глаз. На всем лежал отпечаток изящной простоты. Эта кровать да несколько удобных кресел вокруг легкого небольшого стола составляли всю меблировку. На столе стояли стаканы, бутылки с напитками и два блюда с каким-то полупрозрачным кушаньем, похожим на желе. Но странно: не было ни книг, ни газет, ни письменных принадлежностей. «И вправду, видно, свет переменялся», – подумал Грехэм.

Во второй комнате вдоль одной стены тянулся длинный ряд небольших цилиндров с зелеными надписями по белому фону, что вполне гармонировало с убранством этой комнаты. Посередине этого ряда цилиндров выступал вперед, в виде квадратного ящика около ярда длиной и шириной, какой-то аппарат. Одна его сторона, обращенная к комнате, представляла гладкую белую доску. Перед аппаратом стоял стул.

Сначала Грехэм занялся цилиндрами. «Уж не заменяют ли им книги эти приборы?» – мелькнуло у него в голове. Надписей он долго не мог разобрать. В первую минуту ему показалось, что они на русском языке, но потом, по некоторым словам, он догадался, что это сокращенные английские фразы. «Человек, который хотел быть королем», – прочел он на одном цилиндре.

– А-а, «Человек, который хотел быть королем». Фонетическое правописание!

Он вспомнил, что читал когда-то повесть под этим заглавием; припомнил и саму повесть, одну из лучших в мире. Затем он разобрал еще два заглавия на двух других цилиндрах: «Сердце тьмы» и «Мадонна будущего». О таких книгах он никогда не слышал. Если они существуют, то значит, их авторы жили не в царствование Виктории, а позднее. Он повертел в руках еще один цилиндр и поставил на место. Потом перешел к черырехугольному аппарату. «Это

уж, во всяком случае, не книга». Он снял крышку. Внутри оказался такой же цилиндр, как и остальные, только с кнопкой на верхнем конце вроде кнопки электрического звонка. Он нажал эту кнопку. Что-то затрещало, и когда треск прекратился, он услышал музыку и голоса, а на белой поверхности передней доски появились цветные движущиеся тени. Тогда он понял, что это за аппарат. Он отступил на шаг и стал смотреть.

На гладкой поверхности передней доски отчетливо выступила картина. Фигуры на ней двигались, как живые. И не только двигались, но и говорили, правда, слабыми, как будто издавна доносившимися голосами. Получалось такое впечатление, как если бы смотреть на сцену в перевернутый бинокль и слушать через длинную трубку.

Начало представления сразу заинтересовало его. Действующих лиц было двое – мужчина и женщина, очень хорошенькая. Мужчина – молодой человек – в волнении расхаживал по сцене, осыпал гневными упреками женщину, которая дерзко возражала ему. Оба были в живописных костюмах своего времени, казавшихся такими странными человеку девятнадцатого столетия. «Я работал, – говорит мужчина, – а что делала ты?».

– Ого! Да это любопытно! – пробормотал Грехэм и опустился на стул перед экраном.

Он так увлекся миниатюрным спектаклем, что забыл обо всем. Через пять минут он с удивлением убедился, что маленькие фигурки вдруг упомянули о нем. «Когда проснется Спящий», – услышал он. Это было сказано в ироническом смысле. Фраза, очевидно, вышла в поговорку и применялась в таких случаях, когда говорили о чем-нибудь очень далеком, несбыточном, невероятном. С большим интересом он прослушал всю пьесу, заканчивавшуюся трагически, и оба ее главных героя стали ему близки и понятны.

Что за странная была эта жизнь, – жизнь другой, чуждой эпохи! Что за странный уголок незнакомого мира, в который ему довелось заглянуть! Поистине удивительный мир беззастенчивых, энергичных людей, людей с тонким вкусом, жаждущих наслаждений, и вместе с тем мир экономической борьбы... В пьесе было много такого, чего он не понял, да и не мог понять: какие-то намеки на злободневные вопросы и тому подобное. Но по некоторым маленьким черточкам можно было судить, как радикально изменились за два века нравственные идеалы. Голубой холст, занимавший так много места в его первых впечатлениях от нового Лондона, и здесь фигурировал много раз, и всегда как одеяние простолюдина. Пьеса была, несомненно, из современного быта и отличалась глубоким реализмом. Он еще долго сидел, погруженный в раздумье, после того как она закончилась и экран опустел.

Но вот он, наконец, встряхнулся, протирая глаза. Новейший суррогат нашего теперешнего «романа» так всецело завладел его воображением, что, увидев себя опять в зеленой с белым комнате, где стояли цилиндры, он удивился почти не меньше, чем при пробуждении от своего двухсотлетнего сна.

Он встал, оглянулся кругом и сразу вернулся из мира фантазии в страну реальных чудес. Яркое впечатление маленькой драмы, разыгранной на экране кинетоскопа, побледнело, и перед ним опять встала картина борьбы на необъятном пространстве движущихся улиц, таинственный Совет в зале Атласа и все быстрые фазы его переживаний с минуты пробуждения. В пьесе говорилось о Совете как о власти неограниченной, самодержавной. Много раз упоминалось и о Спящем... Это его почти не поразило тогда; до его сознания в то время как-то не доходило, что ведь он-то и есть этот Спящий... И он стал припоминать, что именно говорили о нем.

Потом он машинально снова прошел в первую комнату, спальню, и стал смотреть на небо в промежутках между вертящимися лопастями колеса. Если не считать ритмического слабого стука лопастей, кругом стояла мертвая тишина. Комната по-прежнему была ярко освещена неугасимым искусственным светом, но он заметил, что мелькавшие вверху узкие полоски неба теперь казались почти черными и были усеяны звездами.

От нечего делать он снова принялся бродить по комнатам. Наружной двери, обитой чем-то мягким, он никак не мог отворить, как ни старался. Хотел позвонить, но не нашел ни звонка,

ни каких-либо других приспособлений, чтобы вызывать прислугу. Чудеса новой жизни уже не удивляли его, но ему страстно хотелось разобраться в своем положении, хотелось знать, какое место занимает он среди новых людей. Он убеждал себя успокоиться и терпеливо ожидать, пока к нему придут, но не мог справиться со своим волнением. Желание знать и жажда новых ощущений томили его.

Он опять вернулся в комнату с кинетоскопом. Он давно уже догадался, что в нем можно менять цилиндры, и теперь ему хотелось узнать, как это делается. Он долго копался, прежде чем ему удалось найти секрет. «А эти цилиндрики, должно быть, много поспособствовали закреплению форм языка. Он так мало изменился за два столетия, что я свободно понимаю его», – подумалось ему. Он взял наудачу первый попавшийся цилиндр и вставил его в аппарат. Аппарат на этот раз воспроизвел оперу. Музыка была незнакомая, но фабулу он сразу узнал. Это была история Тангейзера в переделке на современные нравы. Сначала ему очень понравилось. Играли живо и с большим реализмом. Но что это такое? Этот Тангейзер посещает не Грот Венеры, а Город Наслаждений... Что это? Фу, какая гадость! Не может быть, чтобы это было списано с жизни! Это просто плод фантазии – разнузданной фантазии развратного писаки... Нет, положительно ему не нравилась эта опера: очень уж она была на животные инстинкты человека. И чем дальше, тем хуже. Он возмутился. Какое это искусство? Где же тут идеализация действительности? Это просто фотографические снимки самых грубых сторон человеческой жизни... Нет, нет, довольно с него этих Венер двадцать второго столетия!..

Он и забыл, какую роль играл прототип этих самых Венер в «Тангейзере» девятнадцатого века, и отдался своему архаическому негодованию. Ему стало стыдно. Он поднялся со стула, почти сердясь на себя за то, что мог себе позволить смотреть на эту мерзость, хотя бы и без свидетелей. Нетерпеливым движением он пододвинул к себе аппарат и принялся трогать то тот, то другой рычажок, чтобы остановить механизм. Что-то щелкнуло. Блеснула фиолетовая искра, ему свело руку и обожгло палец. Машина стала. Когда на другой день он хотел заменить цилиндрик с «Тангейзером» чем-нибудь другим, то аппарат оказался испорченным.

Он принялся ходить из угла в угол, стараясь справиться со всей этой массой впечатлений, которые давили его. То, что он уже успел подметить из действительной жизни нового Лондона, и то, что ему открыли цилиндрики, сбивало его с толку своим противоречием. Странная вещь: никогда раньше, дожив до тридцати с лишним лет, он не представлял себе такой картины грядущих времен. «Мы в наше время создавали будущее, – думал он, – и ни одному из нас не приходило в голову задаться вопросом, какое будущее мы создаем... Так вот оно, это будущее! К чему идут эти слепцы? Чего они достигли? О, зачем моя злая судьба привела меня к ним?..»

Его не поражала грандиозность улиц и зданий, не поражало и многолюдство. Но эти рукопашные схватки! Этот жестокий антагонизм между согражданами! И это систематическое потакание своим низменным инстинктам среди богатых классов...

Он вспомнил социалистическую утопию Беллами, так далеко опередившую то, что он нашел здесь, проспав двести лет. Нет, этого никто не назовет утопией. Где тут социалистический строй? Он уже достаточно видел теперь, чтобы убедиться, что исконное противоречие между роскошью, расточительностью, удовлетворением чувственности, с одной стороны, и позорной бедностью – с другой, оставалось во всей своей силе. Главнейшие факторы человеческой жизни были ему настолько хорошо известны, что он ясно понимал все значение такого соотношения. Не только здания в этом городе были колоссальны. Не только колоссальны были толпы народа, запружавшие его. Колоссально было и всеобщее недовольство. О нем кричали люди на улицах, о нем говорила растерянность Говарда; оно носилось в воздухе; все было пропитано им. Где он? В какой стране? Как будто в Англии. А между тем все здесь так чуждо ему... такое все «не свое»... Он попробовал представить себе остальной мир, но мысль его остановилась перед завесой тумана, за которой все было загадкой.

Ломая голову над этими вопросами, он метался из комнаты в комнату, как зверь в клетке. От усталости он дошел до той степени лихорадочного возбуждения, когда уже не можешь ни сидеть, ни лежать. Он то становился под вентилятор и прислушивался, стараясь уловить далекие отголоски уличных волнений, которые, он был уверен, все еще продолжались, то принимался говорить сам с собой.

«Двести три года, – твердил он без конца, смеясь бессмысленным смехом. – Мне, стало быть, теперь двести тридцать три. Старейший из живущих... Надеюсь, они еще не упразднили прав старшинства. Мои права неоспоримы – права человека девятнадцатого столетия. Что ни говори, а великий был наш век... Великий? А болгарская война? А турецкие зверства? Ха-ха!»

В первую минуту он и сам удивился, поймав себя на этом смехе, а потом стал опять хохотать громко, без удержу. Потом сообразил, что ведет себя как сумасшедший. «Полно, полно! Возьми себя в руки», – сказал он себе.

Он умерил шаги, стараясь ходить ровнее. «Новый мир... Не понимаю я его... Почему все пришло к этому? Почему?.. Кто мне ответит?.. Должно быть, они теперь умеют летать и мало ли что еще... Надо припомнить, как начиналось у нас с этими полетами...»

И он перенесся воображением на двести лет назад. Мало-помалу воспоминания его приняли личный характер. Год за годом перебирал он первые тридцать лет своей жизни. Сначала ему казалось, что память его ослабла, что многое он забыл. Мелькали какие-то обрывки воспоминаний, все больше мелочи, случайные встречи, не игравшие в его жизни никакой роли. Ярче другого вспоминалось детство, школьные годы, школьные книги. Но потом постепенно стало оживать и дальнейшее: знаменательные события, трагические моменты... Образ давно умершей жены, ее когда-то столь магические для него чары. Ожили и другие забытые образы – лица соперников, друзей и врагов. Вспомнились тяжелые минуты колебаний, минуты быстрых решений и, наконец, последние годы сомнений и внутренней борьбы, закончившиеся напряженной умственной работой. Вскоре он убедился, что прошлое вернулось к нему немного потускневшее, быть может, как металл, долго пролежавший без употребления, но не утерявшее ни одной черточки, так что его можно было освежить. Освежить? Но зачем? Что принесет ему это, кроме гнетущей тоски? Каким-то чудом он был оторван от жизни, ставшей невыносимой. Надо благодарить за это судьбу.

Мысль вернулась к настоящему. Тщетно он старался осмыслить факты, разобраться в невылазной путанице новых впечатлений... Он поднял глаза к вентилятору в потолке и увидел, что небо порозовело. «Скоро солнце взойдет, надо уснуть», – подумал он. – «Уснуть! Какое блаженство!» Только теперь он почувствовал, как отяжелели его члены, как он жестоко устал. Он подошел к простенькой маленькой кровати с мудреными приспособлениями, лег и мгновенно заснул.

Ему пришлось познакомиться со своей тюрьмой ближе, чем он думал, ибо его продержали в заточении трое суток. Странная, непостижимая судьба: вернуться к жизни только затем, чтобы быть оторванным от нее и обреченным на полное одиночество! Перед загадочностью этого заточения бледнело даже чудо его воскресения из мертвых после двухсотлетнего сна.

За все трое суток к нему не входил никто, кроме Говарда, который в определенные часы приносил ему пищу и питье. И кушанья, и напитки были очень вкусны и питательны, но совершенно не знакомы Грехэму. Говард, входя, всякий раз очень тщательно запирали за собою дверь. Он был всегда очень любезен, охотно разговаривал о пустяках, но уклонялся от всяких объяснений насчет того, что особенно занимало Грехэма и из-за чего, как он был уверен, все еще продолжалась борьба за этими глухими стенами. Стоило только задать вопрос об общем положении дел в государстве, как тот заговаривал о другом.

Чего только не передумал Грехэм за эти трое суток? Зачем его держат взаперти? Зачем умышленно оставляют в неведении? Зачем им непременно нужно, чтоб он ничего не видел и не знал? Чтобы объяснить себе эту загадку, он старательно припоминал то, чему был свидетелем,

но ни одно объяснение не удовлетворяло его. Кругом него и с ним самим творились такие чудеса, что все становилось возможным и вероятным. Теперь его ничто не удивит: он был готов ко всему. Таким образом, когда пришла наконец минута освобождения, она его не застала врасплох.

Уже и раньше он догадывался, что во всем совершающемся не последнюю роль играет личность Спящего, то есть собственная его особа, и поведение Говарда только укрепляло его в этой догадке. Беззвучно отворяясь и затворяясь за этим хитрецом, тяжелая мягкая дверь, казалось, пропускала отголоски происходящих за нею важных событий. Но даже на самые настойчивые, прямые вопросы он отвечал одними увертками.

– Пробуждения вашего не предвидели, а тут, как на грех, оно еще совпало с критическим моментом социального переворота, – твердил он на разные лады. – Чтобы объяснить вам все, пришлось бы рассказать историю страны за полтора гросса лет.

– Я понимаю, в чем дело, – сказал Грехэм. – Вы боитесь меня: боитесь, что я могу вам повредить. Очевидно, у меня есть какая-то власть... или могла бы быть, если б...

– Нет, не то. Прямой власти у вас нет, но... Это я вам, пожалуй, скажу. Ваше громадное состояние (оно возросло до чудовищной цифры за эти двести лет) дает вам опасную возможность вмешательства в общественные дела. Могут оказать нежелательное влияние и ваши допотопные понятия восемнадцатого века.

– Деятнадцатого, – поправил Грехэм.

– Это не меняет дела. Понятия остаются все-таки допотопными, раз вам не знакома ни одна черта нашего общественного строя.

– Скажите, вы считаете меня дураком?

– Конечно, нет.

– Так отчего же вы думаете, что я буду действовать безрассудно?

– Мы, видите ли, не ожидали, что вы вообще когда-нибудь будете действовать. На ваше пробуждение никто не рассчитывал. Ну разве можно было думать, что вы проснетесь? Все были уверены, что вы давно умерли. На вас смотрели, как на диковину, как на беспримерный феномен приостановки разложения – и только. По распоряжению Совета были применены все новейшие антисептические средства, чтобы как можно дольше сохранить ваш труп. И вот... Но это слишком сложно объяснять. Я не могу так, сразу, без всякой подготовки... Вы ведь еще не совсем проснулись.

– Пойдите, не виляйте! – остановил его Грехэм. – Вы говорите, опасное влияние... допотопные понятия... Допустим, что это так. Но отчего же, в таком случае, вы не поделитесь со мной вашей мудростью? Вам следовало бы с утра до ночи, не теряя времени, знакомить меня с фактами, с новыми условиями жизни, чтобы я мог употребить свое влияние с пользой. А я... Чему я научился, что я узнал за эти два дня, с тех пор как проснулся?

Говард закусил губы.

– Я отлично вижу все махинации этого вашего Совета, Комитета или как его там. Вы – его креатура. Говорите же, зачем меня прячут? Кому это нужно? Неужели причина – мое несчастное богатство? Может быть, пока я здесь сижу, ваш Совет стряпает отчет о моих деньгах, который и представит мне потом?

– Такое подозрение... – начал было Говард.

– Э, что там! Не в том дело, – перебил Грехэм. – Скажу вам только, это не пройдет даром тем, кто меня сюда засадил. Не пройдет, попомните мое слово! Я жив. Жив, могу вас уверить. С каждым днем мой пульс бьется сильнее и яснее работает ум. Довольно опеки! Я вернулся к жизни и хочу жить.

– Жить?!

Лицо Говарда осветилось какой-то новой мыслью. Он подошел к Грехэму и заговорил конфиденциальным, дружеским тоном:

– Совет поместил вас сюда для вашего же блага. Но вас это волнует. Понятное дело: вы человек энергичный. Вам здесь скучно. Но все, чего бы вы ни захотели... всякое желание будет исполнено – мы уж позаботимся об этом... Может быть, вы хотели бы... общества?

Он сделал многозначительную паузу.

– Да, хотел бы, – подумав, ответил Грехэм.

– Так и есть! Как это мы упустили из виду?

– Я хотел бы видеть народ, тех людей, что кричали на улицах...

– Ну, это, боюсь... – Говард замялся. – Но всякое другое общество...

Грехэм стал ходить по комнате, не отвечая. Говард стоял у двери, наблюдая за ним. «Что хочет он сказать своим предложением? Что значат его намеки?» Грехэму это было не совсем ясно. «Общество!» А что, если поймать его на слове и потребовать себе собеседника, все равно кого. Может быть, можно было бы вытянуть из этого человека хоть что-нибудь относительно общественных событий? Узнать, по крайней мере, чем кончилась междоусобица, разыгравшаяся в момент его пробуждения?

Он все ходил, соображая, и вдруг догадался, на что намекал Говард. Он круто повернулся к нему:

– Что вы хотели сказать? Какое общество вы мне предлагали?

Говард поднял на него испытующий взгляд и пожал плечами.

– Общество человеческих существ, разумеется, – проговорил он с двусмысленной улыбкой на своем деревянном лице. – Надо вам сказать, что в отношении моральных идей, как и во многом другом, мы шагнули вперед сравнительно с вашей эпохой. Если бы вы пожелали, например, развлечься в вашем уединении... женским обществом, мы не нашли бы в этом ничего зазорного, уверяю вас. Мы сумели освободиться от предрассудков. В нашем городе существует особый класс женщин, – необходимый класс, отнюдь не заклеянный всеобщим презрением, как это было в ваше время, и...

Грехэм остановился перед ним и слушал, что будет дальше.

– Это вас развлекло бы, помогло бы вам скоротать время, – продолжал Говард. – Мне следовало бы раньше вспомнить... Но я так озабочен... У нас там такое творится, что голова идет кругом.

И он махнул рукой в сторону двери.

Грехэм колебался. На один миг в его воображении встал образ красивой женщины и своею доступностью соблазнительно манил его к себе. Но минута слабости прошла. В нем закипело негодование.

– Нет! – крикнул он резко и снова принялся нервно шагать из угла в угол.

– Я понимаю, в чем тут дело, – заговорил он опять минуту спустя. – Все, что вы делаете, все, что вы говорите, убеждает меня, что с моей особой связан исход каких-то важных событий, что от меня зависит, какой они примут оборот. И вы рассчитываете усыпить меня развратом. Так знайте же: я не хочу развлекаться, как вы это называете. Конечно, и распутство тоже жизнь в известном смысле. А что потом? Вечная смерть, забвение... В прежней моей жизни я много думал над этим проклятым вопросом. Я решил его для себя ценою страдания и не намерен начинать сначала. Мне нужны люди, народ, а вы держите меня здесь, как кролика в мешке...

Он дал волю душившему его бешенству. Он потрясал кулаками, выкрикивал архаические проклятия своего века, топал ногами, грозил.

– Я не имею понятия, какой вы партии, какие ваши симпатии, кто вы такой вообще. Я ничего не знаю, и вы нарочно не пускаете меня к свету. Но что вы меня заперли не с добрыми намерениями, это я знаю. И я предупреждаю вас, предупреждаю: берегитесь последствий! Как только я буду у власти...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.